

Выбор цели. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://granikdaniel.ru/> Приятного чтения!

Выбор цели. Даниил Александрович Гранин

Киноповесть

В апрельский полдень 1945 года на берегу Эльбы встретились части нашей Пятой гвардейской армии с частями Первой американской армии.

Эльба напротив городка Торгау неширока. На пароме через реку, с торжественно развернутым американским знаменем, подплывают к нашему берегу американские офицеры. Пожилой американский генерал, с планками боевых орденов, берет знамя и вручает его советскому полковнику.

– Это знамя мы пронесли от Соединенных Штатов через Атлантический океан в Англию, через Ла-Манш, на берег Эльбы. Передавая вам знамя, я передаю вам и офицерам вашей Армии мою любовь и уважение.

На крутом «американском» берегу толпятся солдаты, машины, танки, и наш берег полон солдат, замерших в торжественном внимании к этому долгожданному и праздничному моменту войны.

Советский офицер принимает знамя, вручает американцам альбом с медалью «За оборону Сталинграда».

– Дружба наших народов, выкованная в огне войны, скрепленная кровью, должна остаться навеки!

Американский генерал взволнован:

– У меня не хватает слов... Дружба между нашими народами выльется в союз на долгие годы...

– А теперь прошу вас к нам обедать! – приглашает советский офицер.

Залпами из автоматов, винтовок солдаты на обоих берегах салютуют встрече. Приветствия на кумаче полыхают сквозь пороховой дым. Развеваются союзные флаги. Солдаты обнимаются, угощают друг друга походным своим довольствием – сигаретами, махрой, водкой, виски. Обмениваются пуговицами с гимнастерки, дарят сувениры: звездочки, открытки, конверты – кто что может. Заиграл баян, зазвенела песня. Смешалась русская, английская речь, каким-то образом объясняются, понимая что к чему, а главным образом «по-немецки»: «Гитлер капут! Фашизм капут!» Обмениваются открытками – вот Кремль, а вот Капитолий, Белый дом. Огромный негр и наш мальчишечка-сержант отплясывают друг перед другом в полукруге у самой воды, кто кого перепляшет.

Внимание кого-то привлек плывущий по реке шар, довольно большой, величиной с хорошую тыкву.

– Мина!

Негр, в хмельной бравате, хватается автомат:

– Гитлер капут, мина капут!

Остановить, задержать его уже невозможно, единственное, что успевают крикнуть:

– Ложись! – И все привычно плюхаются на землю. Строчит очередь. Взрыва нет. Станный этот шар, мокро блистающий на солнце, крутится, прошитый пулями, и продолжает плыть, медленно погружаясь в воду, среди всеобщей тишины.

Русский сержант прыгает с берега, бежит по воде в своих высоких кирзовых сапогах, палкой подгребают шар.

– Мать честная, глобус! – восклицает он с жалостью.

Оказывается, это всего-навсего большой школьный глобус. Сержант поднимает его. Из пробоев тонкими струйками хлещет желтая вода. Сержант стоит, расставив ноги, и бережно держит над собой, на вытянутых руках этот израненный пулями, блистающий голубой шар, со всеми его океанами и материками.

Потсдам. Резиденция И. В. Сталина в Бабельсберге. Большая бильярдная. Играют

Выбор цели. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
Сталин и Жуков. Молотов видит, как Сталин прицеливается и мажет, подставляя шар. Молотов предостерегающе посматривает на Жукова. Сталин берет мел, натирает кий.

– Вячеслав Михайлович, маршал Жуков сам знает, что надо делать.

Жуков прицеливается и не может удержаться, кладет шар в лузу. Игра закончена.

– Что-то маршал Жуков стал часто побеждать, – хмуро произносит Сталин и направляется в столовую. Прохаживается вдоль стола, на котором расставлены супницы и стопки чистых тарелок. Поднимая крышки и заглядывая в супницы, он приговаривает:

– Харчо... куриная лапша, нет... а вот и щи... нальем щей.

Жуков и Молотов тоже наливают себе щи, садятся за стол.

– Что произошло с Трумэн? – говорит Молотов. – Его словно подменили. Стал вдруг заносчив. Вы обратили внимание – даже Черчилль поглядывал на него с удивлением. Похоже, что американцы готовы сорвать конференцию. Хотят, чтобы мы пошли на их требования насчет Болгарии и Румынии.

– Я знаю, почему Трумэн стал несговорчивым, – говорит Сталин. Он открывает бутылку вина, нюхает его, разливает не торопясь, поигрывая паузой.

– После заседания Трумэн, как бы невзначай, сказал мне, что у них появилось новое оружие. Бомба. Необычайной разрушительной силы. Черчилль стоял чуть в стороне, так он впился в меня глазами. Я сделал вид, что ничего особенного, пусть они подумают, что Сталин ничего не понял.

Молотов говорит:

– Цену себе набивают.

– Пусть набивают. – Сталин смеется. – Надо будет переговорить об этом с... как его, – в досаде щелкает пальцами, но никто не может подсказать. – С Курчатовым! – Вспоминает он малознакомую ему фамилию. – Да, с Курчатовым!

На лодке, в конце жаркого августовского дня, возвращались по реке трое рыбаков. Курчатов в заплатанных брюках сидел на корме, выставив руку, по большой его ладони ползла божья коровка.

Божья коровка, улети на небо,
Принеси мне хлеба,
Черного и белого,
Только не горелого... –

как в детстве, приговаривал он и осторожно дул ей под брюшко, пока она не выпустила из-под оранжевого своего панциря прозрачные крылышки, взлетела.

Вьется река. Мимо навесистого ивняка, мимо полей с высокими хлебами, серебристыми овсами и полей пустых, незасеянных. Откуда-то, из-за плеса, доносится песня, поют хором, весело и в то же время чуть надрывно. Рыбаки причаливают в заводи к берегу, поросшему ольшаником, берут снасти, кукан с уловом, поднимаются по обрыву.

Перед ними открылась сожженная, полуразрушенная подмосковная деревня. От колокольни остался разбитый снарядами каркас. На околице стоит заросший лопухами горелый немецкий танк. Торчат могучие остовы русских печей; между черными развалинами уже белеют подлатанные свежими досками, тесинами рамы, двери, флигеля, редкие избы. Кирпичи разобраны, сложены аккуратными грядками.

Рыбаки – Курчатов, работник ЦК Зубавин и Переверзев, помощник Курчатова, – подходят ближе.

Во дворе стоят столы, уставленные нехитрым угощением тех трудных лет. Идет гулянье. Вернулись с войны первые демобилизованные солдаты. Они, двое, сидят во главе стола при всех своих медалях и значках, окруженные радостью, заботой баб,

Выбор цели. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
инвалидов, детей, стариков.

Начинается мирная жизнь. И люди сегодня веселятся без тоски, без слез.

– Заходите, заходите, – приглашает рыбаков хозяйка. – У нас такой праздник. Вернулись наши! Живы, здоровы!

Переверзев и Зубавин смотрят на Курчатова.

– Не неволь, Настя, может, им неинтересно с нами. А от угощения не отказывайтесь.

Курчатов кланяется ей, подходит к столу:

– С возвращением!

Они садятся за столы, сооруженные из досок, положенных на ножки из кирпичей. На скатертях печеная картошка, капуста, огурцы, свиная тушенка из армейского пайка. Их рассадили между женщин, и сразу начались смешки, и «ах, пожалуйста», и «кушайте на здоровье».

Соседка спрашивает у Курчатова:

– А вы ведь молодой, почему вы, извиняюсь, с бородой? – И тут же прыскает: – Как складно получилось: молодой, молодой, зачем ходишь с бородой!

– Я зарок дал на фронте, – поясняет Курчатов. – До победы не бриться. А теперь привык. И скажу вам по секрету – нельзя мне ее снимать.

– Это почему?

– На работу не пустят. На пропуске-то я с бородой заснят.

Девушки смеются:

– Разыгрываете?

Зубавин спрашивает у хозяйки:

– Где тут есть телефон?

– В сельсовете, ребяташки проводят.

Он отдает ей улов:

– Вот, пожалуйста, присоедините...

И уходит. А за столом уже поют, выводят:

За Доном гуляет,
За Доном гуляет,
За Доном гуляет
Казак молодой...

Курчатов подпевает, постепенно входя в широкий разлив этой старой песни.

Зубавин вернулся, подошел сзади к Курчатovu, присел, будто помогая петь, и тихо на ухо:

– Американцы сегодня сбросили атомную бомбу. На Хиросиму. Город разрушен. Нас вызывают. Сюда выехала машина.

– Ах ты... Боже мой... – Курчатов замечает устремленные на него взгляды. Но в это время вдруг частым перебором ударила гармонь, и все вскочили, закружились.

Поднимая пыль, потянулось стадо, несколько коровенок, которые возвращались с пастбища.

Выбор цели. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
Курчатову припомнилось другое: огромное мычащее стадо измученных, недоенных коров, что шли мимо Эрмитажа, мимо могучих атлантов, мраморных портиков, мимо дворца, мимо Капеллы.

Июльский полдень сорок первого года, когда усталые, запыленные колхозники гнали эту процессию сквозь город. Прохожие молча стояли на тротуарах, глядя на необычное зрелище. Остановились трамваи, машины. Никогда еще Дворцовая площадь не знала такого. Курчатов на «эмке» напрасно пытался пробиться. В конце концов он тоже вынужден был остановиться, выйти из машины.

Идут, тянутся по набережной, протяжно, голодно мыча, коровы с запавшими боками, изможденные долгой дорогой.

В маленьком сквере физико-технического института собирается отряд ополченцев. Свалены в кучу чемоданчики, рюкзаки. Люди на этой июльской жаре снимают пиджаки, пальто, плащи, сворачивают их в виде скаток.

Из парадной института выносят ящики, грузят в машины. Часть института эвакуируется. В коридорах перестук молотков, стружка, сотрудники несут приборы, пакуют. Печальная эта картина пустеющих лабораторий почему-то мало трогает Курчатова. Он мчится, перепрыгивая через доски и коробки, взбудораженный радостью.

– Еду! – сообщает он каждому встречному. – Разрешили! Еду на флот, в Севастополь!

Заглядывает в непривычно просторные лаборатории, где стоят пустые длинные столы, высокие распахнутые шкафы, голые стеллажи.

– Абрама Федоровича не видели?

Иоффе в своем кабинете, тоже частью опустошенном, складывает в стопку какие-то оттиски, справочники – самое необходимое.

– Абрам Федорович, получил вызов! – с порога, ликуя, объявляет Курчатов. Поздравьте, теперь все в порядке.

Иоффе смотрит на него с любовью и жалостью:

– Это вы называете «все в порядке»?

– Буду в Севастополе налаживать защиту кораблей от магнитных мин!

Иоффе слушает его пылкую речь без сочувствия. И так нелегко видеть, что творится с институтом, а тут еще расходятся, разъезжаются лучшие сотрудники, цвет института, руководители ведущих лабораторий.

– Абрам Федорович, дорогой, не могу я ехать с вами в Казань, не могу.

– Что останется от лаборатории... какая была тема, как все шло...

Курчатов беспечно машет рукой:

– Кому это сейчас нужно, Абрам Федорович, все наши атомные исследования сейчас роскошь. Все для фронта! Верно? Воевать! Флёров ушел в армию, Петержак на фронте, Александров в Севастополе. Чем я хуже? Самое насущное надо делать, самое главное...

Зазвонил телефон, Иоффе слушает, кивает словно бы на слова Курчатова и вдруг, отложив трубку, говорит грустно:

– То, что нужно, мы знаем... А вот что окажется ненужным – это неизвестно.

Удивительное у него лицо, то старчески мудрое, то совершенно молодое.

Вырезки из разных газет, журналов: карикатуры на Рузвельта. Чьи-то руки

Выбор цели. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru подклеивают их в альбом, одну за другой, едкие и беззлобные, смешные и пошлые...

Большой письменный стол. Высокое до потолка окно выходит на зеленую лужайку. За столом, в кресле с двумя флагами по бокам, сам президент США, это он перебирает свежую партию карикатур на себя для своей коллекции. Странное увлечение, которое развлекало Рузвельта в последние годы его жизни.

За кофейным столиком напротив президента Александр Сакс, плотный мужчина, примерно одних лет с президентом, продолжает устало и упрямо:

– ...Эйнштейн полагает, что если найдут способ применения быстрых нейтронов, будет несложно создать опасные бомбы...

Рузвельт посасывает сигарету, зажатую в длинном мундштуке, и, усмешливо прищурясь, разглядывает очередную карикатуру.

– ...Правительство должно установить прямой контакт с физиками... – настаивает Сакс. – Эйнштейну можно верить.

Рузвельт демонстративно поднимает и откладывает в сторону письмо Эйнштейна.

– Вера... Нет, Алекс, вера – аргумент для постройки церквей, а не заводов. Все это интересно, но вмешательство правительства пока что преждевременно. – И Рузвельт в лупу разглядывает новую карикатуру: президент на своей коляске едет навстречу немецким танкам и беспечно смеется.

Но Сакс не хочет сдаваться.

– Дорогой президент, – говорит он, не скрывая возмущения, – я приехал в Вашингтон на собственные деньги, я не могу отнести расходы за счет правительства, поэтому прошу вас быть внимательнее.

Рузвельт, вздохнув, захлопывает альбом.

– Поймите, Фрэнк, немцы, очевидно, взяли старт. Когда бомба окажется у Гитлера, то человечеству будет угрожать смертельная опасность. Тогда карикатур у вас будет еще больше. Это все реально. У Гитлера есть выдающиеся физики, есть уран. Они начали работать...

Входит официант, забирает поднос с посудой, в приоткрытую дверь врывается черный шотландский пес Фал, бросается к хозяину.

Рузвельт достает мяч, бросает. Фал ловит мяч в прыжке, приносит в зубах, начинается привычная их игра.

Сакс, чувствуя безнадежность положения, встает, но задерживается, разглядывая развешанные по стенам гравюры старых кораблей. Взгляд его останавливается на изображении первого парохода Фултона.

– Будь я проклят, – кричит Рузвельт, – Алекс, посмотрите, что он наделал!

Фал замочил ковер и теперь виновато жметесь под столом.

– Майк, Майк! – зовет Рузвельт; входит охранник, схватив Фала за ошейник, тычет его носом в мокрый ковер и выносит.

– До свидания, Фрэнк, – говорит Сакс.

– До свидания, Алекс, – весело отвечает Рузвельт. – Буду рад видеть вас снова!

Сакс подходит к дверям, но снова смотрит на гравюру с пароходом Фултона.

– Фрэнк, могу я отнять у вас еще минуту?

– Что у вас еще за блестящая идея?

Сакс постукивает пальцем по гравюре:

Выбор цели. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru

– Фрэнк, вы знаете, что здесь изображено?

– Разумеется. Это первый пароход Фултона.

Сакс молчит.

– Ну и что? – спрашивает Рузвельт.

– Хочу напомнить вам одну легенду, – говорит Сакс. – Во время наполеоновских войн к императору Франции явился молодой американский изобретатель и предложил ему построить паровой флот. Чтобы Наполеон мог пересечь Ла-Манш при любой погоде. И высадиться в Англии. Корабли без парусов? Тогда это тоже несколько дико звучало для уха политика. Великий корсиканец прогнал Фултона. По мнению историка Актона, это хороший пример того, как Англия была спасена... Прояви Наполеон больше воображения, история девятнадцатого века пошла бы иначе.

Некоторое время Рузвельт сидит молча, посасывает потухшую сигарету. Затем поднимает трубку:

– Генерала Уотсона.

Входит Пат Уотсон.

Рузвельт берет письмо Эйнштейна, протягивает генералу:

– Пат, разберитесь, это, кажется, требует действия.

Курчатов, ничего не слыша, не видя, встает из-за стола, продолжая повторять:

– Боже мой... значит, сделали... И сбросили... И сбросили.

Женщины смотрят на него, но в это время гармонист прошелся по ладам и выкрикнул:

– Тустеп!

И, отвлекая Курчатова, встает его соседка, рослая, красивая, протягивает ему руку с таким ожиданием, что Зубавин совсем неуверенно пробует помешать:

– Да он не танцует.

– Так ведь они обещали!

– Точно. Обещал. И буду, наперекор всему на свете, – объявляет Курчатов. И началось... Знал ли Курчатов этот танец, неизвестно, но во всяком случае это не имело никакого значения для этой девушки. Важно было, что она танцует с мужчиной, а не как другие – «бабочка с бабочкой». Да и Курчатов хотел соответствовать. Танцевать так танцевать. Пропади они пропадом, американцы с их бомбами. Назло! Нарочно! И Переверзев не выдержал, пошел танцевать, и демобилизованные. Один Зубавин остался за столом...

А перед Курчатовым кружится разгоряченное счастливое лицо девушки, и кружение, и музыка напоминают ему тот вечер, когда он танцевал в последний раз. Как давно это было, словно в другой жизни. Хотя всего лишь пять лет назад.

Вместо травы был паркет, и вместо двора – зал физтеха, вместо этой незнакомой девушки – с ним в вальсе кружилась Марина. Горела свечами высокая новогодняя елка. Висел транспарант «С Новым годом! 1941-й!» Оркестр играл Штрауса, и «Дунайские волны», и румбу...

На верху лестницы появляется Абрам Федорович Иоффе, с ватной бородой, – Дед Мороз. За ним несут мешок с подарками. Каждому выдается подарок со значением: кому – рогатка, кому – кукла. По очереди один за другим подходят к Иоффе, вот и Курчатов, ему Иоффе достает голубой воздушный шарик с надписью «Ядро атома». Курчатов протягивает руку, но в этот момент Иоффе, чуть усмехнувшись, отпускает ниточку, и шарик поднимается вверх. Курчатов прыгает за ним, не достает, и шарик уплывает выше и выше...

Несутся звуки вальса, молодой безбородый Курчатов, молодая Марина Дмитриевна, все вокруг Иоффе молодые, веселые, и сам Иоффе еще не стар.

Поет, разливаясь гармонь, наигрывая тустеп. И этот деревенский танец долетает до английского замка Фэрм-Холл. Сельская подмосковная гармонь, она упорно возвращает нас в тот рубежный августовский день 1945 года. Здесь, в Англии, содержались в августе 1945 года пленные немецкие ученые-физики, цвет немецкой науки, захваченные, собранные специальной службой ОЛСОС.

Вдоль высокого забора прогуливается седой большеголовый человек. Багрово-красного кирпича особняк Фэрм-Холл, зеленые подстриженные лужайки, вечернее солнце и тишина. Прочная мирно-сельская тишина. Ничто здесь не напоминает войну. И только из открытого окна, с хрипом и воем помех, взхлеб бормочет радиоприемник. Что-то особенное в голосе диктора. Мужчина прислушивается. В окно высовывается английский майор. Он прижимает к уху наушник, лицо его сияет.

– Ган! Мистер Ган! – зовет он и неистово машет рукой, показывая, чтобы Ган скорее поднялся к нему.

Голос по радио нарастает:

– ...Через пять минут после сброса бомбы темно-серая туча диаметром пять километров повисла над Хиросимой... Город, имеющий более трехсот тысяч жителей, закрыт облаком дыма... Очевидно, уничтожен... Изготовление атомной бомбы обошлось союзникам в пять миллионов фунтов...

Майор Риттнер от восторга, от возбуждения все время чешется.

– Атомная! – кричит он. – Слыхали?! Мистер Ган, это по вашей части! Это что, бомбы из атомов?

Он весело хлопает Гана по плечу, исполненный гордости за своих.

– ...Изготовление атомной бомбы – потрясающее достижение союзных ученых! – кричит диктор в полном упоении. – Взрывная сила ее эквивалентна двадцати тысячам тонн взрывчатки!

Ган затыкает уши, жмурится, чтобы не слышать, не видеть.

– Эй... что с вами? – встревожился майор.

Покачиваясь из стороны в сторону, Ган полубезумно твердит:

– Это я... Вот оно, боже мой, это я, я виноват, это мое открытие, вот оно к чему привело...

– Какое открытие, при чем тут вы? – не понимает майор.

Замутненные глаза Отто Гана невидяще смотрят на него:

– Это же я открыл расщепление урана!

– Ну и что?

Ган, не слушая его, кричит:

– Сотни тысяч людей. Я их убийца! Они, и я тоже, я, Отто Ган! Но ведь я не хотел... Я не имею к этому отношения! – Он хватается Риттнера за руки. – Знаете, Риттнер, еще тогда у меня были предчувствия. Но я не думал...

– Бросьте, – говорит Риттнер. – Вы же в Германии работали над этой штукой. Ну ладно, не вы, так ваши дружки.

– Да, да, все равно, немцы, американцы, они меня сделали соучастником, – с отчаянием соглашается Ган. – Я убийца! – Он бьет кулаком себя по лбу. – Я, я

Выбор цели. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
подтолкнул их!

Риттнер наливает ему стакан виски.

– Выпейте. Вот так. Вы хоть и пленные, но я отвечаю за вас. Чего вы мучаетесь? Это же война. А когда ваши летчики бомбили Лондон?

Стакан в руке Гана трясется, но он подставляет еще и еще, ему надо напиться. Мелкие слезы скатываются, застревают в морщинах его разом постаревшего лица.

Они пьют вместе.

– По мне, – говорит Риттнер, – лучше сто тысяч этих японцев, чем потерять хоть одного нашего английского парня.

Отто Гану шестьдесят шесть лет, пожалуй, он самый старый из собранных здесь немецких физиков. Кроме Макса фон Лауэ, его одноклассника, но который почему-то числился старше Гана и выглядел старше, да и считался чуть ли не патриархом. А Ган, крепкий, широкоплечий, сильный, – никому и в голову не приходило называть его стариком.

Пинком ноги он распахивает дверь в столовую.

Кирпичные своды, длинный стол со скромной вечерней трапезой. Застывшие, оцепенелые фигуры ученых. Сразу ясно, что они уже знают, они слышали это известие.

Захмелевшему Гану что-то напоминают люди, сидящие за этим столом по обе стороны от Вернера Гейзенберга. Он во главе. Он – признанный авторитет, руководитель, гений, учитель. Ах, да – Учитель, а кругом апостолы, сколько их – девять? Десять? Двенадцать? Так вот оно что – это же Тайная вечеря!

Как они там вопрошали, апостолы: не я ли, господи?.. Вот что их терзало.

– Не я ли, господи? – вслух произносит Ган. – Вот что надо спрашивать!

Все смотрят на Гейзенберга. Он сидит в торце стола, худощавый, подтянутый, гордость немецкой физики, уже двенадцать лет назад награжденный Нобелевской премией.

– Это блеф, – говорит он как можно уверенней. – Не может быть. Никакая это не атомная бомба. Разве в сообщении было слово «уран»?

– Нет, – говорит кто-то.

– Значит, это просто пропаганда. Нет, это не атомная бомба, – упрямо, как заклинание, повторяет он.

Хартек, что-то прикидывая карандашом на салфетке, сообщает негромко, ни к кому не обращаясь:

– Эквивалентно двадцати тысячам тонн взрывчатки... Похоже... – но не решается высказать до конца. – Что же это, по-вашему?

Уставив руки в дверной проем, пьяно усмехается Ган. Он безжалостно разглядывает каждого.

– Эх, вы... А если американцы ее сделали? Тогда что? Тогда вы все по-сред-ственности! Бедный Гейзенберг, это именно атомная бомба. Значит, вы тоже посредственность. Зря вас тут держат. Всех нас – зря! Ха, они воображают, что захватили великих немецких физиков. Вы самозванцы!..

Воцаряется тишина.

И словно бы перед глазами их всех возникает пятилетней давности картина – встреча Нового года, того самого 1941 года, который вспомнился Курчатову, но который встречали в замке Гитлера, в Берхтесгадене.

Огромная, отделанная зеленым мрамором столовая, где собрались близкие Гитлеру люди, не так уж много, человек пятнадцать. Гитлер необычайно любезен, весел, в черном фраке с цветком в петлице, он сидит между двумя дамами за празднично накрытым столом.

– ...С Новым годом!

Все встают.

– Наступает тысяча девятьсот сорок первый год! – возглашает Гитлер. – Год окончательной победы великой Германии! За счастливый год! За победу! Наши солдаты ее обеспечат!

В большом окне, которое тянется чуть ли не во всю стену, огни плошек на темных аллеях, светит белизна альпийских снегов. А дальше при холодном свете луны угадываются лесистые горы. Расцвечены лампочками иллюминации дороги, ведущие к Берхстенагенскому замку.

Официанты обносят гостей огромными подносами с гусем, поросятиной. Гитлер, положив себе салата, овощей, вздыхает, глядя, как Геринг накладывает себе в тарелку мясо.

– Ах, Герман, Герман, – укоризненно замечает он, – если бы вы побывали на скотобойнях... несчастные животные... Эти жалобные, беспомощные крики...

Рядом, в гостиной, перед зажженным камином, идут последние приготовления к традиционному новогоднему гаданию, которое любил Гитлер. На огне греется тигель с расплавленным свинцом, и рядом большая медная чаша с водой.

Гитлер поднимается, неловко целует руки сидящих рядом дам, выходит из-за стола. Вслед за ним встают гости. Большинство из них, да и сам Гитлер, старательно изображают «высший свет», аристократов, поэтому одни держатся чересчур церемонно, другие слишком развязны, – все это достаточно напряженно. К Гитлеру подходят генералы, чиновники, поздравляют его с Новым годом, и затем все следом за хозяином направляются в холл. Гитлер идет, держа под руки двух дам. В большом зале люди кажутся маленькими, тени от камина колышутся на стенах, увешанных гобеленами.

Начинается гадание. Гитлеру подают ковш с расплавленным свинцом. Гитлер держит его за длинную ручку, сосредоточивается, чувствуется, что он серьезно относится к этому гаданию. Наклоняет ковш, струя свинца льется в воду. Шипение, брызги, пузыри, облака пара окутывают чашу. Наконец открывается медный блеск дна и на нем застылые извивы свинца, причудливые фигурки.

Наголо обритый гадалщик, опустив подведенные синью глаза, поясняет, истолковывает; слов не слышно, но слышно, как медовый голос его кое-где поскрипывает, обходя опасные места. Наклонясь над чашей, Гитлер подозрительно всматривается – там, среди изломанных веток, сучьев сухостоя, горелого леса, ему чудится, а может, и впрямь что-то напоминает очертания черепа.

– Все равно мы будем... – ожесточенно бормочет Гитлер. – Меня не сбить... Больше самолетов... Он отходит к окну, голос его поднимается, становится острым, почти кричащим: – Я знаю! Самолеты... Никто не знает... Только я... я!.. Строить самолеты...

Трещат поленья в камине. Отсветы пламени выхватывают вынужденные улыбки, показную беззаботность гостей. Они делают вид, что ничто не может испортить их настроения. Впрочем, все они искренне хотят как-то утешить, отвлечь своего фюрера. Первым решается на это министр почтового ведомства генерал-полковник Онезарг. До сих пор он скромно держался позади, но тут он понял, что пробил его час, ему выпала миссия поддержать фюрера. Он спускается со ступеней и идет к окну, где одиноко стоит Гитлер.

– Мой фюрер, позвольте сообщить вам о новом оружии.

Гитлер рассеянно кивает.

– ...Группа немецких физиков, собранных по инициативе почтового ведомства,

Выбор цели. Даниил Александрович Гранин granikdanie1.ru работает над получением взрывчатого вещества из урана. В принципе одна такая бомба сможет уничтожить целый город, несколько бомб – и с Англией будет кончено. А несколько десятков бомб – и...

Гитлер поднимает палец, и Онезарг умолкает на полуслове. Отсутствующий взгляд Гитлера устремлен на его замершую фигуру.

– Полюбуйтесь, господа! В то время как мы ломаем себе голову, каким образом выиграть предстоящую войну, является наш почтмейстер и приносит готовое решение. А?

Гости облегченно и громко смеются. Все рады возможности отыгаться, как-то исправить положение, люди ожили, распрямляются. А Гитлер продолжает, нагнетая:

– ...Не нужно полководцев, не нужно усилий нации... Где же эта чудо-бомба?

От унижения и страха Онезарг мучительно заикается:

– Т-требуются ис-с-следования... нужны оп-пыты... чтобы сделать проект...

Гитлер взрывается:

– Я запрещаю тратить деньги на исследования! Мне надо оружие, которое можно изготовить в течение трех месяцев. Полгода максимум! – Он потрясает кулаком. – У нас слишком развивается интеллект! Слишком много ученых. Наша военная техника обеспечит блицкриг без этих халдеев!

Гитлер, а за ним и вся его свита переходят к роялю. Все рассаживаются. Гитлер садится на ступеньку. Где-то в стороне Геринг отводит в сторону Онезарга, расспрашивает его, согласно кивает...

Выходит хор малышей – девочки в голубеньких платьицах с бантами, мальчики в коротких штанишках, с галстучками. Нежные детские голоса великолепно звучат в этом зале. Трогательная рождественская песня разгоняет мрачные мысли.

O Tannenbaum, o Tannenbaum,
wie grün sind deine Zweige!
Du bist nicht nur in Sommerzeit –
Und auch im Winter, wenn es schneit...[1

– О елка, елка, как зелены твои ветки! Ты цветешь не только летом, но и зимой, когда идет снег... (нем.). – Ред.]

А через несколько месяцев, в сентябре 1941 года, под неистовую дробь барабанов, сотни девочек и мальчиков, одетых в форму гитлерюгенда, самозабвенно маршируют на лейпцигской площади. Рослые унтеры командуют детьми. Чеканный прусский шаг отбивают подошвы по каменной брусчатке. Сухие листья несутся из-под ног. На детских лицах восторг. Сотни рук взлетают вверх в приветствии:

– Зиг-хайль! Зиг-хайль! Зиг-хайль!

Они надвигаются на Гейзенберга и Лауэ, которые пересекают площадь. С болью, с ужасом Лауэ вглядывается в эти пылающие счастьем лица марширующих детей.

– Боже мой, что с ними сделали...

Гейзенберг не замечает ничего, он увлечен сейчас своим, он только что из лаборатории, где, кажется, что-то начинает получаться.

– ...Как только наш котел начнет действовать, я обойдусь и без урана-235. У нового элемента будет такая же взрывчатая сила. Я вам сейчас покажу.

Они заходят в пивную, тут же на площади, присаживаются у окна, за свободный столик.

У прилавка висит карта Восточного фронта. По флажкам видно, что линия фронта приближается к Москве, вплотную окружила Ленинград.

Максу фон Лауэ уже за шестьдесят, но в нем сохраняется детская голубоглазая

Выбор цели. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
наивность, то доверчивое прямотушие, про которое говорят: ну что с него
спросишь...

И он действительно, пожалуй, единственный из немецких физиков продолжал
держаться независимо, он позволял себе резко высказываться против антисемитизма,
помогал преследуемым ученым. Он был в те годы нравственным примером...

Лауэ почти не смотрит на то, что пишет и рисует перед ним Гейзенберг, –
пофыркивая, он вглядывается в его лицо.

Наконец Гейзенберг замечает это молчание.

– Что с вами?

Лауэ молчит.

– Вы что, не верите? Вы бы могли меня поздравить.

– Поздравляю.

– Я надеюсь, мы обставим всех.

– И что дальше, дружок?

Гейзенберг оглядывается, быстро пьет пиво.

– Макс, согласитесь, это интереснейшая задача.

– Итак, господин лауреат, мы открываем путь к атомной бомбе для наших дорогих
прохвостов. Они сразу станут хозяевами. Потом уже мы не сумеем остановить их.

Лауэ выразительно оглядывает пивную – сановную лейпцигскую пивную тех лет, с
гравюрами старинных замков и рыцарей. За столиками пьют, курят офицеры,
эсэсовцы, чиновники в мундирах.

– Теперь, когда следующий вариант твоего котла может стать успешным, не мешало
бы спросить себя: имеем ли мы моральное право давать им в руки такое оружие? –
откровенно формулирует Лауэ.

– Хорошо, а если американцы его сделают.

Лауэ задумывается.

– Это не довод... Вот что. Надо поехать в Копенгаген. Придумать какой-нибудь
предлог...

– Предлог можно найти, там через две недели будет симпозиум.

– Ну и прекрасно... Пойми. Вернер, если бы я мог тебя заменить, я бы не
раздумывал. Но ни с кем из нас Бор не станет говорить, как с тобой. Ты его
любимец.

– Был. Для них мы все теперь наци...

– Я тебя понимаю, это риск...

– Я связан с секретной работой.

– Учти, что и за ним наверняка следят...

– Господи, что за страна, в которой даже нельзя совершить геройство, – с тоской
произносит Гейзенберг. – Тихо запрячут в концлагерь и запретят упоминать, как
будто тебя и не было. Активное сопротивление – это бессмыслица. Парадокс в том,
что можно что-то сделать, лишь сотрудничая с ними...

Он почти перешел на шепот. Лауэ соблюдает осторожность совершенно иначе: голос
его не снижается, он разговаривает так, как будто они продолжают обсуждать свои
дела.

– Я лично всегда держал военных в неведении относительно результатов работ. И тебе советую. Нельзя им давать никаких надежд. Я не хочу думать об американцах. Нам пора для самих себя определить нашу позицию. Чтобы говорить с Бором, надо понять, что мы предлагаем.

– Не знаю. Я хочу просто посоветоваться с ним. Пусть он скажет, что нам делать.

– Но для этого ты обязан ему все рассказать, все!

– Это нельзя... А если мы идем впереди американцев?

Они молчат. Лауэ допивает пиво, подходит кельнер, забирает стаканы, вытирает столешницу.

– Надо иметь мужество информировать его... полностью, – говорит Лауэ, не стесняясь кельнера.

Гейзенберг ждет, пока они останутся одни.

– Информировать его, а значит, и их, наших противников... то есть предать... совершить...

– Измену? Подумаешь. Меня эти слова не трогают. Кому измену?

– Макс, я не могу желать поражения своей стране. Мы с вами немцы... Нильс поймет меня. Давайте рассуждать логически. Что реально в наших условиях? Для обеих сторон? Договориться, чтобы и мы, и они затормозили изготовление бомб...

– Но как ему это сказать?

Звуки фанфар. По радио передают победную сводку.

Отряды гитлерюгенда на площади останавливаются. Кельнер подходит к карте, переставляет флажки ближе к Москве.

Военные, видимо фронтовики, встают, затягивают песню «Мы уходим на Восток». И вся площадь поет. Пьяный капитан с перевязанной рукой подходит к физикам с поднятым стаканом вина.

Они машинально приподнимаются, продолжая разговор.

– Нет, это невозможно. Ты должен с ним договориться, – настаивает Лауэ.

– Нельзя подвергать Бора опасности.

– Отставить разговоры! – кричит капитан. Петь! Всем петь!

Лауэ подзывает кельнера.

– Уберите его, – свирепея, кричит он. – Это невоспитанный человек!

Кельнер отводит капитана, что-то шепчет ему.

– С ним надо быть откровенным, – продолжает Лауэ.

И тут капитан со своей компанией громко провозглашает:

– Великому ученому нашей великой Германии!

Они высоко поднимают кружки в честь Гейзенберга. Шипит, лопается пена. Гейзенберг кланяется, морщась, и все же слегка польщенный.

Все стоит на прежних местах в гостиной дома Нильса Бора. Так же горит камин, и так же дымится большой кофейник на столе. Но сместилось значение вещей. Одним из главных предметов стал телефон. На молчащий аппарат посматривают, к нему прислушиваются. Часы тикают встревоженно, и все слышат этот отсчет. Приемник

Выбор цели. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru дежурного бормочет в углу. И шторы плотно закрывают окна.

– Если он согласился возглавить Кайзер-Вильгельм-Институт, – говорит Розенталь, близкий друг и сотрудник Бора, – значит, он помогает фашистам.

– Он оправдывал оккупацию Польши, – говорит сын Бора. – Что можно ждать от него?

– Такие заявления бывают иногда вынужденными, – говорит Розенталь. – Мы знаем, как заставляют их делать.

– Что, его пытали? – спрашивает Нильс Бор. – Нет, я никогда не понимал двойной игры. И не желаю понимать.

Они трое ходят по гостиной, встречаясь и расходясь. Нильс останавливается у пианино, пробует пальцем начало той песенки, что когда-то пелась в этом доме.

– Ах, Вернер, Вернер... – говорит он. – Но для чего ему понадобилось это свидание? Чего он хочет?

– Может быть, он надеется что-то узнать, – говорит Розенталь.

– Во всяком случае, отец, ты должен быть крайне осторожен.

– А если его специально подослали? – спрашивает Розенталь.

– Послушайте, это же Гейзенберг! – с отчаянием восклицает Бор. – Это же не полицейский провокатор.

Он с треском захлопывает крышку пианино. Надевает пальто.

– Отец, проводить тебя?

– Нет, нет.

...Моросит дождь по набережной Ни-Карлсберга. У воды стоят, как всегда, рыболовы с удочками. Нильс Бор идет под зонтом, рядом с ним Гейзенберг. Он иногда оглядывается. Воротник его плаща поднят, шляпа плотно надвинута.

– ...Ничего особенного, я просто давно не видел вас. Я решил воспользоваться этой конференцией... – объясняет Гейзенберг.

– Благодарю вас, очень рад, – церемонно приговаривает Бор.

– Я представляю себе, как изменились ваши оценки немецкой физики, – говорит Гейзенберг. – Многие люди связывают имена ученых Германии с нынешней государственной политикой. Но вы-то понимаете, что тут надо разделять... Власть – это одно, ученые это другое, и вряд ли мы должны отвечать за их действия... – Он осторожно обрывает себя. – Нельзя не учитывать нажима, который оказывают на каждого ученого. Трудно даже передать атмосферу, в которой мы живем.

– Хм, не знаю, не знаю, – бурчит Бор.

– Иногда приходится заниматься вещами, которыми и не хотел бы.

– Хм...

– Например, урановой проблемой... – и Гейзенберг выжидательно замолкает.

– Что же тут такого неприятного?

– Нет, нет, ничего... Однако урановая проблема связана с проблемой атомного оружия.

– Хм...

– Вы думаете, атомное оружие практически невозможно создать?

Выбор цели. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru

– Не знаю. Я с начала прошлого года ничего не слышал о развитии атомных исследований, – официальным тоном отвечает Бор. – Ни в Англии, ни в Америке. Может быть, они держат их в секрете. А может, и бросили заниматься этими вещами.

– А если не бросили?

– Кого вы имеете в виду?

– Я хочу спросить вас напрямую, Нильс. Имеем ли мы вообще моральное право во время войны заниматься таким оружием, как атомная бомба?

Бор пытается вникнуть, разгадать шифр этого вопроса, не замечая, он шагает по лужам. Весь разговор как шахматная партия, дебют разыгран, и теперь надо все тщательнее рассчитывать очередной ход.

– Раз вас интересует такой вопрос, – чутко и осторожно выводит Бор, – значит, вы уже не сомневаетесь, что расщепление атома можно использовать для военных целей?

– Теоретически – да.

– А практически?

– Не знаю, – тотчас замыкается Гейзенберг. – Думаю, что технически это слишком дорого и сложно.

– Ого, значит, уже технически...

– Я надеюсь, что никому не удастся это осуществить в ходе войны.

– Кто бы мог подумать, что дело у вас пойдет так далеко...

– Нет, нет, вы меня не так поняли, – страдальчески вырывается у Гейзенберга.

Они останавливаются. Бор ждет. Кажется, сейчас начнется то главное, ради чего приехал Гейзенберг. Где-то поблизости клацают солдатские сапоги – проходит патруль. Каждый вглядывается в лицо другого, каждый неуступчиво ждет от другого первого шага, и оба молчат.

Гейзенберг протягивает руку и не решается прикоснуться к Бору, стряхивает намокший рукав. Они оба страдают от недоверия друг к другу и оттого, что не в силах преодолеть это недоверие.

– Я так надеялся получить от вас совет... помощь...

– Вы знаете, Вернер, все слишком круто изменилось, боюсь, что физики в этих условиях будут продолжать начатое, как бы ни были опасны такие работы.

– Послушайте, Нильс, надо их остановить, пока не поздно. Мы должны договориться.

– О чем?

– Ученые не должны толкать свои правительства... чтобы, ну, словом, разворачивать эти работы.

– Вот как...

– Вы думаете, это нереально?

– Вы не могли бы, Вернер, несколько полнее сформулировать свою мысль?

– Нильс, вы пользуетесь достаточным влиянием в Англии и Америке. Вы единственный, с кем я могу говорить об этом. Скажите, как вы полагаете, пошли бы в Америке физики на то, чтобы не создавать бомбу? Если, конечно, и немецкие физики сделают то же. Возможно ли такое соглашение?

– Странно, – задумчиво говорит Бор. – Странное предложение. – При своем простодушии он не в состоянии скрыть внезапное подозрение. – Это же рискованный вариант. Какие у нас могут быть гарантии?

Гейзенберг не сразу понимает, в чем его заподозрили.

– Но если мы договоримся...

Бор берет его под руку.

– Дорогой Вернер, мало ли что мы... вы сами толковали мне про то, как заставляют немецких физиков. Согласитесь, что ваш фюрер в смысле коварства...

– Да при чем тут фюрер? – вырывается у Гейзенберга, он оскорбленно высвобождает свою руку.

– Все равно, Вернер, ваше предложение в условиях войны выглядит двусмысленным, – вежливо и твердо заканчивает Бор.

– Вы мне не доверяете?

Бор молчит.

– Когда-то вы считали меня своим любимым учеником. Вы не доверяете мне за то, что я остался в Германии. Но я немец.

– А я датчанин, и должен бежать из Дании.

– Это ужасно, что мы так разговариваем.

– Ах, Вернер, разговаривать можно как угодно. Трагично, что мы не в состоянии договориться и что и вы, и американцы будут продолжать делать бомбу...

– Да, вы правы, Нильс. Прощайте, привет Маргарет и вашим ребятам. Да хранит вас бог.

Бор остается один. Дождь часто, все громче, стучит в зонт. Откуда-то из-за угла появляется Оге Бор. Он берет отца под руку.

– Они делают бомбу. Они занимаются всю атомной бомбой, – потрясенно повторяет Бор...

Они возвращаются домой узенькими улочками, и, проходя мимо кинотеатра, Бор вспоминает одну давнюю историю.

Это произошло в тридцатые годы, когда в очередной раз его мальчишки съехались к нему.

Интересно, вспоминал ли эту историю Гейзенберг?

Или Оппенгеймер, ведь он тоже мог вспомнить ее?

...Из темноты кинозала доносится стрельба. На экране довоенный американский вестерн: шериф, невозмутимый и неуязвимый стрелок, спасает от бандитов бедную очаровательную красотку. Стоит кому-то из бандитов взяться за пистолет, как этот парень вытягивает свой кольт, и очередной злодей падает, сраженный пулей. Бар завален трупами бандитов...

Молодежь, которая затащила Нильса Бора в это кино, хохочет, но сам Бор чем-то заинтересовался, он внимательно следит за действиями героя, за всей этой, казалось бы, чепуховой игрой в поддавки. И на улице, после картины, Бор отключен от общего веселья.

– Надо же нагородить такую безвкусицу...

– Оппи, и тебе не стыдно за твой Голливуд?

– Каков супермен! – Оппи наставляет вытянутые пальцы и палит из двух пистолетов. – Бах, бах, бах!..

Выбор цели. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
Они потешаются и резвятся, пародируя неправдоподобные подвиги героя.

– Нильс, пожалуйста, простите нас, неразумных, – говорит Сциллард. – Это все Оппи, это его продукция.

Однако Бор не разделяет их иронии. Вполне серьезно, без улыбки он говорит:

– Мне думается, ситуация довольно реальная.

Несмотря на любовь и уважение к своему учителю, его спутники не могут скрыть веселого удивления.

– Господи, о чем вы, это же бред собачий, – не выдерживает Сциллард.

– Разве так бывает...

Бор берет Гейзенберга за пуговицу пиджака:

– А не кажется ли вам, Вернер, что тот, кто защищается, действует быстрее?

Гейзенберг недоверчиво пожимает плечами, да и остальные насмешливо переглядываются.

– Инстинкт самосохранения должен срабатывать быстрее... – упрямо продолжает Бор, теребя пуговицу.

– Давайте проверим, – предлагает Сциллард. С энтузиазмом экспериментатора он жаждет опыта, реальных доказательств и тут же организует этот опыт. – Купим пистолеты и сейчас все это выясним.

Сказано – сделано. Они направляются в ближайший магазинчик, выходят оттуда с парой детских пистонных пистолетов. Поединок решено провести безотлагательно, здесь, на улице.

– Кто будет гангстером? – распоряжается Сциллард. – То есть кто нападает?

– Я!.. Я!.. – одновременно выкрикивают Оппи и Теллер.

– Тогда я жертва, то есть благородный герой, – требует Гейзенберг.

– Нет уж, героем буду я, – простодушно просит Бор. – Все-таки это моя гипотеза.

– Прекрасно, я гангстер! Теоретик должен сражаться с теоретиком, – восклицает Гейзенберг. – И вообще, мы, немцы, любим стрелять. – Он бесцеремонно забирает у Сцилларда пистолет.

Оппи недоволен.

– Силы неравны... Этот Вернер и не подумает уступить. Сейчас он укокошит своего учителя.

Бор и Гейзенберг становятся в позицию. Лео Сциллард помогает Бору зарядить пистолет.

– Итак, Вернер, ты начинаешь! – командует Лео.

«Враги» прячут пистолеты в карманы. Наблюдатели окружают их кольцом. Гейзенберг, уверенный в победе, не спешит. Бор немного смущен, доброе большое лицо его совершенно не соответствует происходящему и невольно вызывает улыбки.

Гейзенберг выхватывает пистолет, но, на какое-то мгновение опережая, весело хлопает пистон. Невероятно, что это успел выстрелить Бор, такой неуклюжий, сутулый, чем-то напоминающий медведя.

– Ого! Вот так штука! Еще, еще, снова! – требуют все.

Собираются прохожие, привлеченные шумным сборищем, необычным в этом респектабельном Копенгагене. Отворяются окна, останавливается возчик пива.

Выбор цели. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
Подходит полицейский.

- В чем дело, господа? Добрый вечер, господин Бор!
 - Видите ли, мы проверяем одну психологическую теорию, как бы это выразиться...
 - Судьба агрессора, – подсказывает Сциллард, он снова заряжает пистолет и подает сигнал.
 - Всякое действие, – продолжает рассуждать Бор, засунув пистолет в карман, – которое требует решения, выполняется медленнее...
 - Дайте я попробую, – просит Оппи.
- Он отбирает пистолет у Гейзенберга, решив во что бы то ни стало опередить Бора. Закусив губу, он ждет, изготовился.

- Нильс, следи за ним, – предупреждает Сциллард.
- Он мне не мешает... Так вот, решение неизбежно выполняется медленнее, чем действие, вызванное внешним раздражителем...

Решившись, Оппи выхватывает пистолет, вкладывая в движение всю свою молодую стремительность, и снова Бор успевает выстрелить раньше.

Ему аплодируют.

- Это похоже на фокус, – досадливо бурчит Гейзенберг. – Я понимаю вашу теорию, но что же получается? Что же делать бедным бандитам?
- Если они хотят убить друг друга, – необычайно серьезно заключает Бор, – то им ничего не остается другого, как разговаривать. Ибо тот, кто решится стрелять, будет убит прежде, чем исполнит свое решение.

Маленькое зимнее солнце в морозном ореоле, и ветер. Тишина безлюдного заснеженного Ленинграда. Репродукторы на столбах гулко разносят тиканье метронома. Литейный мост через Неву. Отсюда открывается путаница тропинок по льду, бездымные заводские трубы, белый город над белой рекой. У набережной стоит пар над прорубью, окруженной ледяными наростами, прорубленные ступеньки, редкие фигуры людей, тянущих ведра на саночках.

Молоденький воентехник Гуляев, в полушубке, с вещмешком, бредет по бесконечно длинному Лесному проспекту. Мимо разбитых домов и домов с замерзшими окнами – по ним видно, что там еще живут. Постукивает движок в какой-то мастерской. Закутанные, перевязанные платками люди, не поймешь, кто они – мужчины, женщины, разбирают крыльцо деревянного дома. Обвязав веревкой столб, тянут, пытаются свалить его. Воентехник подходит, впрягается. Столб трещит, падает.

Снова даль проспекта, свистящий навстречу ветер, сугробы снега на путях, на мостовой, развалины, тропинки. Красный трамвай «девятка», воентехник читает привычную надпись: «Нарвские ворота – Политехнический институт». Провода давно оборваны, пути занесены, и уже трудно представить, как попали сюда эти два вагона. Воентехник поднимается в передний передохнуть, укрыться от ветра. Нетронутый холм снега на открытой площадке. Дверь открывается с пронзительным вскриком стилого железа.

Воентехник садится, закрывает глаза. Тишина, ветер, удары метронома. Еле слышно возникают звуки движения колес, голоса людей, хранимые памятью тех мирных дней, когда он каждое утро ездил в институт этим трамваем и у Финляндского в трамвай набивались приезжие, а у Флюгова шумно втискивались студенты Политехнического. Голос кондукторши, звон денег, гудки машин, и вдруг, обрывая эти воспоминания, резко и громко дзенькает трамвайный сигнал.

Заледенелый подъезд Физико-технического института. Напротив, в парке, зенитная батарея. Из вестибюля доносятся голоса. Воентехник открывает дверь...

На застекленной веранде дачи Сталина в Кунцеве несколько человек сидят в

Выбор цели. Даниил Александрович Гранин granikdanie1.ru ожидании. Сюда вызваны трое из ведущих физиков страны, причем каждый из них не случайно: Владимир Иванович Вернадский – как крупнейший специалист по радиоактивным материалам. Сергей Иванович Вавилов – как директор Физического института и Абрам Федорович Иоффе – как директор Ленинградского физтеха и глава школы советских физиков.

На веранде кожаный учрежденческий диван, желтый канцелярский стол и желтые стулья, вся эта мебель какого-то обезличенно-казенного вида.

Входит Сталин, здоровается с ожидающими здесь Зубавиным и академиками.

– Здравствуйте, товарищ Сталин. Разрешите представить вам – Владимир Иванович Вернадский... Абрам Федорович Иоффе... Сергей Иванович...

– Мы знакомы, – говорит Сталин, обращаясь к Иоффе, затем к Вернадскому: – Здравствуйте, Владимир Иванович.

– Здравствуйте, здравствуйте, очень рад с вами встретиться, – добродушно и беззаботно отвечает Вернадский. Он здесь самый старший и обращается со всеми, включая Сталина, по-отечески покровительственно.

– Наверное, товарищ Зубавин рассказал, что нас интересует? Как вы полагаете, – говорит Сталин, – могут ли немцы изготовить бомбу такой силы? Реальна опасность того, что они ведут эти работы?

Вавилов решается ответить первым:

– У немцев, товарищ Сталин, для этого есть все, у них отличная химия. У них осталось немало крупных ученых, великолепные лаборатории... Что касается физики, то Абрам Федорович может подтвердить, он работал в Германии, физика мирового класса...

– Так, так. – Сталин переводит взгляд на Иоффе.

– Теоретически не существует никаких препятствий, – начинает было Иоффе, но спохватывается: – Как практически сложится у них... у немцев... не знаю. Видите ли, слишком мало данных есть, чтобы судить...

– А вот некоторые ваши молодые сотрудники, Абрам Федорович, сообщают нам, что в западных журналах перестали печатать статьи по атомной физике, – не торопясь, рассказывает Сталин.

– Да. Сперва в английских прекратили, подтверждает Иоффе, – а сейчас и в американских.

– На основании этого они делают вывод, что работы засекречены. Почему, спрашивается?

После некоторого молчания Вавилов отвечает:

– Возможно, чтобы не давать материала немцам. Они опасаются, что немцы развернули работы над бомбой.

– Так, так...

– А может, американцы с англичанами сами тоже приступили к работам, – добавляет Иоффе.

– И нам, товарищ Сталин, пора бы подумать об этом, – простодушно советует Вернадский.

– Почему же вы, академики, специалисты, сами не ставили об этом вопроса? – Голос Сталина становится жестко-угрожающим. – Почему вы ждете, когда вас вызовут? Почему, наконец, товарищ...

– Флёров, – подсказывает Зубавин, – младший лейтенант...

– Да, младший лейтенант, обыкновенный научный сотрудник, сопоставил факты и не

Выбор цели. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru постеснялся написать, предложить, а вы стесняетесь?

Молчание.

Сталин продолжает:

– Вот, например: союзники сейчас усиленно бомбят завод тяжелой воды в Норвегии. Что это, по-вашему, значит?

– Тяжелая вода нужна для атомных исследований, – говорит Иоффе.

– Вот видите!

– Но можем ли мы сейчас, во время войны, позволить себе... – И Вавилов выразительно умолкает.

– Это уж мы сами будем решать, товарищ Вавилов. Речь ведь идет об оружии, не так ли?

– Да, товарищ Сталин.

– Не надо оправдываться войной, не стоит... Что нам надо для того, чтобы подготовить такое оружие?

– Это потребует огромных затрат. Трудно сразу определить.

– А может, вы все же попробуете, Владимир Иванович? – неожиданно обращается Сталин к Вернадскому.

Нисколько не смущаясь, Вернадский поясняет:

– Примерно это будет стоить столько, сколько стоит одна война.

– То есть?

– Очень просто. Весьма дорого и неопределенно. Смотря по тому, как будет уклоняться от нас истина. А кроме того... вот, например: наш маленький урановый рудник придется развернуть так, чтобы резко увеличить добычу. В сотни раз...

Сталин нетерпеливо постукивает по столу.

– Вы считаете – нам следует за это дело приниматься?

Все молчат. Никто не решается первым высказать свое мнение.

– Но если союзники занимаются атомной проблемой, – говорит Вернадский, – то зачем же нам тратить на это средства? Можно же договориться, я знаю там Комптона, и Лоуренса, и доктора Рабби. Это вполне порядочные люди...

Сталин недоверчиво приглядывается к Вернадскому, как бы раздумывая, потом вдруг начинает тихо смеяться.

– Политическая наивность, – говорит он, обрывая свой смех. – Они с нами делиться своими секретами не станут. Нам самим надо решать для себя... Как, товарищ Вавилов?

– Я думаю, что нам придется заниматься этим, и чем раньше, тем лучше, – говорит Вавилов.

– Вы полагаете, наши ученые смогут решить эту проблему?

– Думаю, да. Если организовать и дать средства...

– А кто, по-вашему, мог бы возглавить эту работу?

Вавилов смотрит на Иоффе.

– Я думаю... Курчатов, – говорит Иоффе.

– Кто такой Курчатов? – спрашивает Сталин.

– Это физик, молодой, энергичный, отличный ученый. Он как раз перед войной руководил исследованиями по ядру...

Сталин поднимает руку, останавливая:

– Почему Курчатов? Что у нас, мало академиков?

– Товарищ Сталин, Курчатов – профессор, доктор наук, и потом, это работа не на месяц... на годы...

– Совершенно верно, – подтверждает Вернадский.

– Курчатов совмещает в себе хорошего организатора и крупного ученого, специалиста именно в этой области, – настаивает Иоффе.

– Значит, вы рекомендуете Курчатова. Так? А вы? – обращается Сталин к Вавилову.

– Я поддерживаю.

– Где он?

– На фронте. В Севастополе, – отвечает Иоффе.

Сталин смотрит на Зубавина:

– Надо отозвать.

– Может быть, и еще несколько специалистов? – спрашивает Зубавин.

Сталин, не сразу, кивает.

...Постукивает, мотает ночной вагон. Раскинулись ноги в кирзе, валенках, обмотках. Проход забит спящими, прикорнувшими и между скамеек, на мешках, чемоданах.

Старик и старуха развязывают торбу, достают хлеб, яйца.

– Угощайтесь, – говорит старуха Курчатову, который сидит напротив и смотрит за окно, в ночь... Он в матросском бушлате, вид у него больной. Лицо заросло, он недавно начал отращивать бороду.

– Спасибо. Не хочется что-то.

– Севастопольский?

– Да нет, из Ленинграда я, – говорит Курчатов.

– Семья там?

– Отец с матерью... остались.

– Господи, как подумаешь о них, ленинградцах, – говорит старик, – так наше горе не бедой кажется.

– Отец умер, – вдруг сообщает Курчатов, – не знаю, как мать. Может, и она. А?

Привыкшие за эти месяцы ко всему, люди молчат, не сочувствуя, не утешая, потом деликатно переводят разговор:

– И куда ж ты сейчас?

– В Казань. Институт наш там. Жена там. Вот, вызвали.

Вагон мотает, колышутся тени, где-то плачет ребенок. Душно, жарко, а Курчатов кутается, озноб бьет его... Он идет, перебирая рукой по стене и полкам вагона.

И улица Казани шатается, как вагон. Вздрагивают дома, лязгают сугробы. С трудом Курчатов находит дом, где живет Марина Дмитриевна, заходит во двор, присаживается на чурбан, уже не в силах подняться, сделать последние шаги до квартиры...

Марина Дмитриевна, которая шьет на машинке, вдруг поднимает голову и видит его, вернее, узнает, еще вернее – угадывает, бежит во двор, поднимает его, тащит на себе...

Проходная комната Курчатовых в большой коммунальной квартире. Женщина-врач осматривает Курчатова. В коридоре за полуоткрытой дверью ждет Иоффе с пакетом в руках.

– Ваше сердце нуждается в полном покое, – гремит голос врача, – миленький, вы некультурный человек... Думаете, на войне можно не щадить здоровья... Извините. Жизни не щадить, это да, а здоровье извольте беречь.

В дверях она сталкивается с Иоффе, подозрительно оглядывает его и обращается к жене Курчатова:

– Марина Дмитриевна, и никаких серьезных разговоров. Хотя бы недельку – анекдоты, одни анекдоты.

Иоффе входит в комнату, кладет на стол пакет. Марина Дмитриевна провожает доктора через кухню, завешанную бельем и пеленками. За окном шумит крикливый казанский двор. Сквозь проходную комнату все время, бочком, деликатно, ходят какие-то люди.

– Абрам Федорович, почему вы меня рекомендовали? – тихо и быстро спрашивает Курчатов. – Как вы могли?

– А кого? Никто лучше вас не справится. Слава богу, я вас достаточно знаю.

– Вы говорите так, будто ясно, как решать эту задачу.

– От нас, специалистов, требовали сказать «да» или «нет». Простите, Игорь Васильевич, я не мог сказать «нет».

Разговор идет торопливый, приглушенный, и когда в коридоре раздаются шаги Марины Дмитриевны и она входит в комнату с чайником, Курчатов внезапно начинает смеяться:

– Ох, уморили, Абрам Федорович, великолепно. Вот это анекдот!

– Расскажите, Абрам Федорович, – просит Марина Дмитриевна.

Абрам Федорович укоризненно смотрит на Курчатова.

– Маша, это не для дам, – выручает его Курчатов.

– Вот уж не знала за вами, Абрам Федорович!

– Огрубел, Марина Дмитриевна... Между прочим, тут сахар и даже некоторые лекарства.

Марина Дмитриевна накрывает на стол. Со двора доносится звук трубы. Она берет жестяную банку.

– Керосин привезли, я сейчас. Игорь, ты бы прилег.

Как только она выходит, Курчатов увлекает Иоффе в коридор:

– Тут нам никто не будет мешать.

Они укрываются за развешанными пеленками, в глухом полутемном тупичке, Курчатов с наслаждением закуривает.

Выбор цели. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru

– Судя по всем данным, – тотчас начинает Иоффе, – немцы занимаются ураном, и американцы, и англичане.

– Но, Abram Федорович, вы представляете, чтобы начать – только для опытов, – графит нужен, производство налаживать надо, тяжелая вода нужна, а уран? Тонны урана! Рудники необходимо переоборудовать. А измерительная аппаратура, где ее брать? Чистого изотопа ни столечко нет. Начинаешь думать – голова идет кругом. Я сейчас в Севастополе, Abram Федорович, нахлебался – самолетов нет, снарядов в обрез. Какое же право мы имеем отвлекать огромные средства?! За счет крови наших людей? Я понимаю, если бы броню нам поручили усовершенствовать, это конкретное дело, а бомба – кот в мешке. Годы и годы нужны.

Марина Дмитриевна возвращается с керосином, заглядывает в комнату – никого нет, обеспокоенная, идет на кухню, спрашивает у мальчугана, восседающего на горшке:

– Дядю Игоря не видел?

– Там... они про бомбу говорят.

Из-за развешанного белья Марина Дмитриевна слышит голос Иоффе:

– ...Материальные трудности – полбеда. Образуется. Сложнее угадать правильный путь. С чего начинать...

Решившись, Марина Дмитриевна раздвигает белье:

– Хороши!

Курчатов виновато возвращается в комнату.

– Зачем вы его уговариваете, Abram Федорович? – говорит Марина Дмитриевна. – Дайте ему другую работу. Почему именно он...

– Он лучше других сумеет воодушевить людей... – Иоффе разводит руками. – Но пусть он сам решает...

– Я боюсь, – говорит Марина Дмитриевна, – боюсь, боюсь...

С открытыми глазами Курчатов лежит в темноте. Стучит швейная машинка. Марина Дмитриевна шьет тряпочных зайцев. Это работа, которую она берет на дом. Груды белых ушастых зайцев растут на столе.

Время от времени она поглядывает на мужа.

Он видит новогоднюю елку, летящий голубой шарик с надписью «Ядро атома», вальс, и следом горящий Севастополь, себя на борту эсминца, раненых, которых несут по сходням на корабль, эвакуацию под бомбежкой, и снова бал в физтехе, и снова обстрел Севастополя... Кружатся, сталкиваются эти две картины, нет, уже не картины, не воспоминания, а два направления жизни: война, бой, его солдатский долг, и физика, атомное ядро, лаборатория – два, как ему кажется, разных, даже противоположных направления жизни. Потому что заняться атомными делами – это, как бы там ни было, оставить фронт, уйти с войны...

Голубой воздушный шарик поднимается все выше, выше и лопается страшным взрывом, кроваво-слепящим столбом, который медленно поднимается к небесам, растет, превращается в атомный гриб.

В кабине пилота – веселые ребята команды самолета «Энола Гэй». Ведет свой репортаж американский журналист Лоуренс, который получит потом за это высшую журналистскую премию – Пулитцера:

– ...Наш самолет «Энола Гэй», названный полковником Тибетсом по имени своей покойной матери, соответствует двум, а может, четырем тысячам «летающих крепостей». Впереди лежит Япония. В мгновение, которое нельзя измерить, небесный смерч превратит в прах ее обитателей... Столб фиолетового огня в пять тысяч метров высотой. Вот он уже на уровне самолета!.. Это уже не дым, не огонь, а живое существо, рожденное человеком.

Души всех японцев поднимаются к небесам! О том, что здесь был город Хиросима, я могу судить лишь по тому, что минуту назад видел его собственными глазами... Мы передавали репортаж корреспондента газеты «Нью-Йорк таймс» с театра военных действий...

Ужин закончен, скатерть снята, открылся черный дубовый стол, за которым восседали физики-апостолы. Теперь они бродят по этой большой столовой, не находя себе места, не в силах успокоиться. Сообщение о бомбе не сплотило, а разъединило их.

Большинство не могло поверить, они просто не хотели верить тому, что американцы сделали атомную бомбу.

Карл Виртц, например, был убежден, что он вместе с Гейзенбергом, точнее, их группа первая в истории осуществила цепную реакцию. Не совсем осуществила, не до конца, но это уже технические детали, а в принципе у них уже получилось. Там, в пещере под скалой в Хайгерлохе, осталось совсем немного, чтобы разогнать котел. В самом начале марта они уже получили на сто нейтронов – семьсот, реакция вот-вот должна была пойти, еще немного – и возникли бы критические условия. Нужно было только добавить еще урана.

Не хватало еще хотя бы полтонны урана и меньше чем тонны тяжелой воды. Один грузовик. Тем более что все это было у группы физиков, возглавляемых Дибнером.

Поначалу хотели все оставить Дибнеру, весь уран, всю тяжелую воду, все вывезенное из Берлина оставить в той тюрингской деревушке, где этот ловкач Дибнер приспособил школьный подвал для нового реактора, и все машины, которые Виртц вел из Берлина, уже разгрузили там. Виртц поднял шум, накрутил Гейзенберга, надо было, чтобы тот дозволился до начальства, чтобы как-то переиграть это решение. Гейзенберг сам с Вейцзеккером приехали в Штадтильм к Герлаху и выхлопотали несколько грузовиков урана и тяжелой воды. В Штадтильме и во всех окрестных городках воздушная тревога не прерывалась. Сигналов отбоя почти не было. В небе одна за другой плыли эскадрильи союзных и красноразведных бомбардировщиков. Был февраль сорок пятого года.

Если бы еще поднажать, можно было бы взять еще тонну урана. Виртц не мог простить себе... В который раз успех, удача в самую последнюю минуту ускользали от него. Так было и в Берлине. Он собрал последний реактор, самый большой реактор с тяжелой водой. Оставалось только залить тяжелую воду. Полторы тонны. И начинать пуск. Двадцать девятого января поздно вечером его группа кончила последние приготовления. А на следующий день пришел приказ демонтировать реактор, и во двор института прибыли тяжелые крытые грузовики с охраной для эвакуации. Из Берлина уходили, уезжали, бежали. Свет в бункере то и дело меркнул, гас. Бомбежки усилились. Виртц был вне себя – ему не хватило двух-трех дней.

В пещере Хайгерлоха пахло винным спиртом, и на деревянных стеллажах кое-где лежали старые бутылки. Его люди работали, не жалея себя, готовя котлован для реактора, монтировали контейнеры, баки, приборы. Условия были здесь самые примитивные, никакого сравнения с берлинским бункером, где имелся кондиционер, а наверху ходил тельфер, люди были изолированы от реактора стальными дверями, специальными иллюминаторами. котлом можно было управлять на расстоянии, с подземного пульта. Предусмотрено все для защиты людей от радиации.

Хайгерлох был деревушкой, живописной и никак не приспособленной для исследований. Негде было даже расточить подшипник насоса. И все же они за неделю вручную подвесили к проволокам почти семьсот кубиков урана и к первому марта начали закачивать тяжелую воду в новый котел.

По дорогам тянулись потоки беженцев из Пруссии, из разбомбленного Дрездена, из Чехословакии. Воздушные налеты не прекращались. Однажды бомбы попали в тюрьму, что стояла на утесе, и в пещере все дрогнуло, бетон у контейнера треснул.

К этому времени и Виртц, и Гейзенберг поняли, что можно было обойтись без тяжелой воды, без всей этой норвежской эпопеи, без жертв и боев за эту тяжелую воду. Графит вполне годился как замедлитель.

Выбор цели. Даниил Александрович Гранин granikdanie1.ru
Безумная надежда подстегивала Виртца: может быть, им все же удастся опередить всех, не только своих немецких конкурентов, но и вообще всех в мире, он чувствовал, что они подошли вплотную к получению атомной энергии.

Они были совсем близко и невероятно далеко.

Они двигались быстро, но понимали, что советские войска приближаются еще быстрее.

Что подгоняло этих последних действующих физиков гитлеровского рейха? Любознательность? Тщеславие? Одна за другой опустели лаборатории Кайзер-Вильгельм-Института в Берлине. Американские войска приближались к Штадтильму, работа там тоже прекратилась, эсэсовцы приказали всем атомщикам Дибнера эвакуироваться на юг. А в пещере Хайгерлоха все еще лихорадочно работали. Виртц пытался дозвониться в Штадтильм: один грузовик с брикетами урана – вот что ему надо было. Если бы они успели прислать всего один грузовик...

...Все сорвалось в последний момент. Опять не хватило нескольких дней. Роковое стечение обстоятельств преследовало их неотступно уже второй год.

Со всех сторон Гейзенбергу твердили, что если реактор заработает, то немецкая наука обретет великое преимущество. Открытие поможет добиться приемлемых условий мира. Секрет этого открытия необходим для всех стран, можно будет спасти ученых Германии, сохранить ее науку...

И он, Гейзенберг, верил им всем, и этому хлопотуну Вальтеру Герлаху, который пытался быть хорошим для всех и всех выручить, и всем помочь, и мотался между Герингом и Борманом. Они и впрямь считали, что они откроют миру глаза, они, немецкие физики... И это в то время, когда, оказывается, давно уже в Штатах работали реакторы и бомбы были сделаны.

...Гейзенберг не ушел из столовой. Он решил испить чашу унижения до конца. Единственное, что он не мог себя заставить, – встретиться глазами с Отто Ганом. Почему-то перед ним было особенно стыдно. То ли потому, что Ган не постеснялся сказать им всем правду в глаза. То ли потому, что Ган один среди них всех чувствовал свою вину, взвалил ее на себя, мучился.

– А я рад, что бомба не у нас, – вдруг вскакивает Вейцзеккер, с вызовом оглядывает всех. – Американцы совершили безумие.

Хартек останавливается перед ним:

– Все же они оказались способны сделать ее. А мы нет. Если бы не наша клика невежд и тупиц, мы были бы первыми.

– А может быть, все дело в том, что не они, не наши невежды, а мы сами не хотели успеха. Во всяком случае, большая часть наших физиков. – Голос Вейцзеккера крепнет, с каждым словом он обретает уверенность.

– То есть как?

– А так! Из принципиальных соображений! – со значением творит легенду Вейцзеккер. – Если бы мы желали победы Германии, мы бы добились своего, но мы не хотели. Мы уклонялись...

Ган поднимает голову:

– Брехня! Не верю.

Скандал вот-вот разразится. Единственный, кто чувствует себя свободным, даже довольным этой напряженностью, это Лауэ. Он берет Гана за плечи, с помощью Карла Виртца усаживает в кресло.

– Вейцзеккер, простите меня, это абсурд! – возмущается Эрих Багге. – Может, вы и не хотели успеха. Не знаю. Но остальные – вряд ли.

Выбор цели. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru

– Выходит, вы саботировали работы над бомбой. Допустим, – ядовито соглашается Хартек. – Но правильно ли это? Если бы мы сделали такое оружие, наша наука не оказалась бы сегодня в этом положении. – Он выразительно обводит руками их место заключения. – Что будет с Германией... Средневековье...

Гейзенберг ходит, опустив голову, садится, встает.

– Как они это сумели? Мы ведь занимались тем же... Неужели они настолько обогнали... Непостижимо. – Гейзенберг не в силах скрыть свое расстройство, его самолюбие уязвлено. – Какой стыд!

– Вы считали себя первым, – не унимается Ган, – а вы второй... вы третий... а может быть, вы сотый...

Поздно вечером того же дня Лауэ и Гейзенберг стоят у дверей комнаты Гана. Из полуоткрытых дверей светит ночник. Ган мечется, стонет во сне.

– Я боюсь за Отто, – говорит Лауэ. – У него мания вины.

Он берет Гейзенберга под руку, они спускаются по скрипучей деревянной лестнице. Мимо проходит сержант английской охраны.

– Я всерьез занялся физикой в семнадцать лет, – говорит Лауэ, – я мечтал превратить ее в великую науку и быть свидетелем исторических событий. И то и другое осуществилось.

– Да, осуществилось... – удрученно повторяет Гейзенберг.

– Но как...

В Принстоне, в саду при доме Эйнштейна, они встретились весной 1945 года. Альберт Эйнштейн и Александр Сакс, приятель Лео Сцилларда, советник Рузвельта, тот самый Сакс, который уговаривал президента пять лет назад начать работы над бомбой.

Цветут яблони, вишни, белые лепестки осыпают седую голову Эйнштейна. Сандалии на босу ногу хлопают по гравии. Эйнштейн напоминает библейского старца. А может, и самого Господа, идущего по райскому саду. Только бог этот не всемогущ, не грозен, а дряхл и печален.

– Стыдно... стыдно... – повторяет он слова Гейзенберга, но иначе, совсем иначе. – Вы знаете, Сакс, самое ужасное, что у нас нет оправдания, у всех этих военных и политиков есть оправдание, а у нас с вами нет...

Сакс отводит свисающие на их пути ветви.

– Откуда мы могли знать? – несогласно говорит он. – По всем данным, немцы работали над бомбой. Они не успели. Вернее, мы обогнали их. Это же все так и было. Разве мы виноваты, что теперь, когда немцы разбиты, бомба в руках таких, как Гровс, а Рузвельта уже нет? Послушайте, профессор, я понимаю, мы все влипли, но я сам ничего не могу исправить. Я могу только просить вас. Вы должны обратиться к президенту.

– Опять? Один раз я уже спасал человечество – я просил сделать бомбу. Теперь вам снова нужно мое имя. Чтобы спасти мир от бомбы...

К ним навстречу по аллейке спешит Сциллард. Это тот самый Сциллард, который пять лет назад приезжал к Эйнштейну организовать письмо Рузвельту. Сциллард, который работал над бомбой в Лос-Аламосе, Сциллард – любимый ученик Макса фон Лауэ.

– Простите, Сакс, я задержался. Профессор, я точно знаю: они хотят сбросить бомбу на Японию.

– При чем тут Япония? – удивляется Эйнштейн. – Германия капитулировала. Война окончена.

– Япония воюет. Гровс сказал, если у нас есть такое оружие, то мы должны

Выбор цели. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
применить его.

Они выходят на лужайку. Пять лет назад здесь Сциллард и Теллер обсуждали с ним текст письма к Рузвельту.

Эйнштейн подавил вздох.

– Я думаю о том, что подтолкнуть на новое оружие всегда легче, чем остановить...

– Мы были правы и тогда, мы правы и сейчас, – настаивает Сакс.

– Надо просить Трумэна воздержаться, – говорит Сциллард. – Какие могут быть колебания, если мы можем спасти жизнь тысяч и тысяч людей. Мы сейчас единственные, кто понимает, что стоит взорвать бомбу – и русские поймут, что она реальность. Они ее сделают. Если успеют. Зачем им зависеть от милости всяких Гровсов.

Эйнштейн безнадежно кивает.

– ...Мы не могли предвидеть так далеко, – говорит Сакс. – Да, мы испугались чучела.

– Когда-то я предупреждал вас, что мы ходим возле самой субстанции. – Эйнштейн устало опускается на скамейку. – Дело сделано... Бомба у них... Чтó мы теперь...

– Именно теперь. – Сакс заставляет себя воодушевиться. – Авторитет и влияние науки поднялись как никогда...

Птица, покачиваясь на ветке, смотрит на Эйнштейна. Круглый глаз ее неподвижно и вдумчиво блестит.

Эйнштейн тоже смотрит на нее. Сакс и Сциллард стоят перед ним, ожидая ответа. Он говорит, глядя на эту птаху:

– Я не знаю, во что вы верите, но в науку верить нельзя. Она беспомощна и равнодушна... Видите, она позволяет пользоваться ею как угодно. Она может установить только то, что есть, а не то, что должно быть. – Он горько усмехается. – Грустно убеждаться, что есть вещи куда более нужные людям, чем знания...

Птаха улетает, и Эйнштейн обрывает себя, как будто он говорил ей.

– Где ваше письмо? – устало спрашивает он.

Сакс достает письмо; не читая, Эйнштейн подписывает.

– А как же Оппенгеймер? – вспоминает он. – Ведь он может куда больше, чем я...

Сциллард молчит, и Сакс тоже молчит. Эйнштейн встает, направляется к дому.

Сбоку от старых гравюр пароходов и парусников, ближе к окну, висит большая фотография Рузвельта, увитая траурными лентами.

В кабинете президента за столом Гарри Трумэн. Перед ним сидят генерал Гровс и военный министр Стимсон.

– Что им не нравится, этим ученым? – спрашивает Трумэн, отодвигая прочитанное письмо. – Они ж сами ее делали. Чего они теперь боятся?

Отвечает Стимсон, он старается не смотреть на президента: трудно привыкнуть к тому, что за этим столом, в этом кабинете, на месте Рузвельта, хозяйничает этот маленький человек.

– Видите ли, атомная бомба – не просто новая бомба. Сила ее взрыва эквивалентна двадцати тысячам тонн тротила.

Трумэн вскакивает, снова садится.

Выбор цели. Даниил Александрович Гранин granikdanie1.ru

– Ничего себе! А! Сколько ж она сама весит? – подозрительно спрашивает он.

– Взрывной заряд не больше апельсина, – поясняет Гровс.

Трумэн оценивающе взвешивает в руке круглую пепельницу.

– А вы уверены, что у России нет такой штуки?

– Нет, и не скоро будет. У них на это не хватит ни промышленных мощностей, ни сырья.

– А у англичан?

Гровс пренебрежительно машет рукой.

– Атомная бомба обеспечит американской дипломатии большую силу, – говорит Стимсон. – Это козырная карта в политике.

– У вас остается единственная возможность продемонстрировать бомбу перед всем миром, – решительно говорит Гровс. – Сбросить ее, пока Япония еще не капитулировала. И все станет ясно. Всем станет ясно! Когда увидят действие атомной бомбы. Гарантирую, что Советский Союз станет более уступчивым в Восточной Европе. Да и вообще...

Трумэн поворачивается на своем вертящемся кресле к портрету Рузвельта, разглядывает его, тонкие губы его поджаты. Потом он весело раскручивается в обратную сторону.

– Послушайте, Стимсон, но это же меняет все дело. Тогда я смогу по-другому разговаривать с русскими. Я буду диктовать. Если они заартачатся – пусть убираются к черту... А она взорвется? – вдруг спрашивает он у Гровса.

– Разумеется, господин президент.

– Если она взорвется, у меня будет хорошая дубинка для русских парней.

– Но можем ли мы не считаться с протестами ученых? – Стимсон кивает на письмо. – Они отражают мнение влиятельных кругов.

– Не стоит преувеличивать. Среди ученых разные мнения. – Гровс замысловато вертит рукой. – Я изучил эту публику. Если они что-нибудь сделали, они обязательно хотят пустить это в ход, они все тщеславны.

Трумэн внимательно следит за его жестом.

– Я тоже думаю... но хорошо, если б они сами вынесли рекомендации.

– Господин президент, – говорит Гровс, – я надеюсь, что они дойдут до этого.

Гровс и Стимсон молча спускаются по лестнице.

– Господи, как он мог, как у него хватает духа, чтобы так легко согласиться на такое? – удрученно произносит Стимсон. – Сбросить бомбу...

Гровс неожиданно хохочет:

– Знаете, Стимсон, он не так уж много сделал, сказав «да». Сейчас надо иметь куда больше мужества, чтобы сказать «нет».

В другое время Стимсон оценил бы это замечание, но теперь победный вид Гровса раздражает его.

– Боюсь, что с учеными вам будет потруднее, чем с Трумэном, – едко замечает он. – Особенно с этим вашим Оппенгеймером. Вряд ли на него подействует ваша эрудиция...

Выбор цели. Даниил Александрович Гранин granikdanie1.ru

...Черный лимузин, сигналив, пробивается через карнавальное шествие какого-то маленького американского городка. Взрываются петарды, сыплется конфетти, веселые маски заглядывают в окна машин. Тамбурмажор-девица вышагивает впереди женского оркестра.

За рулем машины Оппенгеймер, он в светлом костюме, в лихо сдвинутой шляпе. Рядом с ним Сциллард. Сквозь разряды и потрескивание включенного приемника доносится скрипичный концерт.

– ...Рвется крохотный сосуд в голове одного человека, и все... – говорит Сциллард. – Ход истории нарушается. Чего стоит этот мир, построенный на таких случайностях? Если бы Рузвельт прожил еще несколько дней... всего несколько дней... А мы пытаемся установить какие-то законы развития. Ищем логику...

– Будь Рузвельт жив, он бы тоже не сумел остановить военных, – утешает его Оппенгеймер. – Ты идеалист, Лео. Вся разница в том, что Рузвельт сделал бы это нехотя, а Трумэн делает охотно.

– Я вижу, ты ловко устроился в этой разнице, – со злостью говорит Сциллард. – Ладно. Ясно, что надеяться нам не на кого. Только на себя. Пока эти упыри с нами считаются, мы должны их придержать.

Машина сворачивает в боковую улочку, где сидят на крылечках старые негритянки. Гирлянды бумажных цветов повисли между дощатыми лачугами, сколоченными из фруктовых ящиков. Ограда из колючей проволоки, пакгаузы, и там, в глубине складов, на открытых площадках пирамиды стальных солдатских касок. Они высятся, никому уже не нужные, до следующей войны, как курганы, как памятники...

– Отправить еще килограмм писем? – насмешливо спрашивает Оппенгеймер.

– Не валяй дурака. Ты руководитель проекта. Ты отец бомбы, ее папуля, папочка... кумир всех горилл в генеральских мундирах. От тебя зависит больше, чем от кого-либо из нас.

Перед ними расстилается безрадостная равнина. Прямое шоссе, размеченное рекламными щитами, бетонной стрелой воткнулось в горизонт. Шлейф пыли клубится за одинокой машиной.

– Ничего от меня не зависит, – говорит Оппенгеймер, – я технический советник.

– Оппи, ты начинаешь работать на дьявола, – предостерегает Сциллард.

– Дьявол... – Оппи кривится. – Не ты ли хлопотал, чтобы его выпустили из бутылки?

– Мы все ответственны за это, но ты, Оппи, ты обязан остановить их, тебя послушают. Если ты этого не сделаешь...

– Я не хочу вмешиваться в политику. Я ученый.

– А зачем же ты начинал работу над бомбой? Ну-ка потревожь свою знаменитую память. Мы делали бомбу против Гитлера, теперь он разгромлен. Зачем же сейчас ее сбрасывать? На кого?

– Лео, ты делал ее против Гитлера. Я тоже, но, кроме того, я делал ее для своей родины. Я – американец...

– Ага, а я – эмигрант... Вот до чего мы дошли... Ну конечно, ты политик, только ты плохой политик. Это оружие принесет твоей Америке больше вреда, чем пользы. Ах, Оппи, как разделила нас эта проклятая бомба. Гейзенберг, Ган... теперь ты. Мне кажется, что ты все время чего-то боишься.

– Чего мне бояться? – Голос Оппи вдруг срывается на крик. – Я ничего не боюсь!

– Тебя окружает страх, – не слушая, продолжает Сциллард. – Ты не смеешь оглянуться. И боишься смотреть вперед...

Голос Сцилларда отдаляется, затихает. Машина мчится по бетонному шоссе. За рулем Оппи, и рядом уже нет никого...

По вечернему подмосковному шоссе с зажженными фарами мчится ЗИС-101.

В машине Курчатов, Зубавин, Переверзев, в рыбацких своих плащах и ватниках, они возвращаются с того колхозного застолья.

Затихают звуки гармонии, кончается вальс, отлетают все дальше за стеклом огни деревень. Курчатов смотрит в темноту.

– Игорь Васильевич, – оборачивается к нему Переверзев, сидящий рядом с шофером. – Для чего они?.. Что теперь будет?

Курчатов молчит. Кончился вальс, кончился праздник, кончилась песня – для него все это мирное разом кончилось. Не успев по-настоящему начаться. Когда теперь ему придет случай вернуться к мирной жизни? Что пронесется перед ним в зеркальной глубине стекла?

– Они метили не в Японию, – говорит Зубавин. – Она что... Она полигон.

– Хотят нас запугать?

Курчатов откидывается на сиденье, возвращается к своим спутникам.

– Итак, начинается новая эра – эра атома. Атомный век, – задумчиво говорит он.

– Ничего себе начало, – бурчит Зубавин.

– Да, кровавое начало... Боюсь, многое сейчас будет зависеть от того, успеем ли мы ее сделать.

Зубавин с особым вниманием посмотрел на Курчатова, словно бы увидел его иначе, совсем не так, как привык за эти два года.

– Да, все зависит от вас, – говорит он. – Впервые, наверное, в истории отвечать будут ученые.

Курчатов озабоченно кивает:

– По крайней мере ясно, что ее сделать можно.

Под утро Курчатов, Зубавин, несколько ответственных работников Совета Министров и генералов вышли из подъезда дома в Кремлевском переулке.

На свежеполитой площади их ждали машины.

Курчатов молча попрощался с товарищами, еще не замечая, как перед ним вытягиваются...

Пешком через площадь он направился к Троицким воротам. Его обгоняли автомобили. Позади, в отдалении, следовал Переверзев.

Вдруг Курчатов свернул на Соборную площадь. Одинокие шаги его гулко звучали в тишине раннего утра. Москва еще спала. А может, сюда не доносились ее шумы. Солнце только позолотило маковку колокольни Ивана Великого. Все было в тени, но там, наверху, полыхало. Сверкали золотые купола колокольни и Успенского собора. И такой покой, тишь царили кругом, что казалось, время спит, что его нет, а существует эта незыблемость, исчисляемая веками, нерушимость устоев... И вдруг Курчатову послышался свист, вой падающей бомбы. Ему увиделось небо, охваченное пламенем. Облака и весь небосвод горели, корчились в неистовой вспышке, чернели, прожигались насквозь. Колокольня Ивана Великого начала оседать, крениться, стали плавиться купола Успенского собора, потекли камни древних стен...

В кремлевском кабинете Сталина за длинным столом сидят Курчатов, Зубавин, работники Совета Министров.

Выбор цели. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru

Сам Сталин, как обычно, ходит по кабинету, то останавливаясь у письменного стола, то подходя к своему креслу во главе стола заседаний. Идет одно из тех рабочих совещаний, на которых решались подробности достаточно серьезные и достаточно спорные. Зубавин, в защитной суконной гимнастерке, обычной для того времени, докладывает и, как видно, подводит первые итоги.

– ...Кабель, изоляторы обеспечиваем за счет фондов легкой промышленности. Стройматериалы, цемент, металл снимаем с южных районов – то, что было намечено для восстановления городов. Начатые там объекты придется заморозить, оставляя только Донбасс.

Его слушают хмуро. В сущности, он забирает самое насущное, режет без ножа, потому что в 1945 году всего этого – и цемента, и металла в стране, еще не оправившейся от войны, было в обрез, на счету была каждая тонна металла, каждый вагон цемента, надо было восстанавливать разрушенные заводы, шахты, города. Немудрено, что предложения Зубавина, то есть проект приказа, хозяйственники встречают мрачным молчанием. Оно настолько явно, что Сталин вынужден спросить:

– Как, товарищ Сергеенко, обеспечите?

Сергеенко встает, он старается говорить бесстрастно, никак не выдавая своих чувств.

– Трудности в том, что многие предприятия с людьми выехали обратно. В Харькове одни развалины... – Он следит за выражением лица Сталина и заканчивает несколько иначе, четко и бодро: – Будем исходить из того, что нужно, товарищ Сталин, а не из того, что есть.

– Вот это правильно, – одобряет Сталин. – Продолжайте, продолжайте.

Зубавин отрывается от бумаг:

– Оба химкомбината на Урале передать в распоряжение Александрова. Но, товарищ Сталин, приборостроителей нужно втрое больше, чем есть. – Он выжидательно умолкает.

Мягко ступая, Сталин останавливается боком к столу и смотрит на министра, затем с легким нетерпением спрашивает:

– Ну, как же?

Министр поднимается, одергивает черный пиджак:

– Простите, я прошу два месяца, чтобы хоть как-то подготовить замены.

– Товарищ Зубавин? – вопросительно проверяет Сталин.

Зубавин покосился на Курчатова, но тот сидит, опираясь на палку, совершенно безучастно, никак не помогая Зубавину, не отзываясь на его призыв, он смотрит прямо перед собою, лицо его холодно и неподвижно.

– Месяц, – жестко говорит Зубавин.

– Ясно, – подчеркнуто по-военному, показывая, что это подчинение, а не согласие, чеканит министр.

А Зубавин дожимает, он учитывает растущую напряженность и торопится скорее выложить все конфликтные дела. Каждое слово у него продумано.

– Самое трудное, товарищ Сталин, с электроэнергией, – предупреждает он, давая тем самым некоторые возможности своим оппонентам. – Главный объект, как известно, весьма энергоемкий – потребуются две линии передач, и надо обеспечить мощность.

Сталин повозился с трубкой, потом спрашивает:

– Как, товарищ министр?

Выбор цели. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
Министр встает, докладывает почти ожесточенно:

– Линии протянем... Но вот насчет мощностей... в тех районах... – Он выразительно замолкает.

– Мощности нужны когда?

– К зиме, – чуть виновато отвечает Зубавин, потому что он-то понимает, как это плохо, что к зиме, то есть к максимуму, к самому тяжкому времени для энергетиков.

Министру все это уже известно из предварительных разговоров с Зубавиным, и Зубавину известна его позиция, но министр еще на что-то надеялся до этой последней минуты. Сейчас он говорит убито:

– Понятно.

– Это хорошо, что вам понятно, – говорит Сталин.

Министр продолжает стоять, и Сталин, помедлив и подумав, спрашивает:

– Ну? Вы, кажется, что-то хотите сказать?

– Нет, товарищ Сталин, – привычно отвечает министр, но, услышав себя, он неожиданно решает: – Да, товарищ Сталин. У меня нет мощностей в тех районах. Нет, – тверже повторил он. – И я не знаю, откуда их взять. Разве что отключить города, держать людей в потемках. Это ж невозможно, не война. Что я скажу людям? Первая зима. Хоть бы дали прийти в себя... – Он спохватывается. Не принято говорить так в этом кабинете. – Простите, пожалуйста.

– Ничего, ничего, – успокаивает его Сталин, у него своя тактика в этом разговоре, его даже устраивает такой поворот. – Я вас понимаю. Что же мы будем делать, товарищ Зубавин?

Никто не обращается к Курчатову, его обходят, и тем не менее круги, которые все делают, сужаются.

– Товарищ Сталин, я думаю... – начинает было Зубавин.

Не доводы министра потрясли Зубавина, а его смелость. Чем-то она зацепила его, был в ней упрек, укор ему.

– Что вы думаете? – Взгляд Сталина становится тяжелым.

– Правильно он говорит. Там же люди. Если бы сроки первой очереди передвинуть, тогда мощности значительно сократятся. Надо искать какой-то выход.

Сталин раскуривает трубку, все смотрят на него, он долго прохаживается, потом садится рядом с Курчатовым.

– Товарищ Курчатов, может быть, вы в чем-то пойдете навстречу просьбам товарищей?

Настигла все же и его эта доля... Он поднимает голову и смотрит на Сталина, прищурясь, разгадав его маневр – переложить все на него, на Курчатова, и чтобы при этом еще и сам Курчатов лишний раз взял на себя ответственность.

– К сожалению, товарищ Сталин, мы не в состоянии ничего сократить против наших расчетов. Никаких сроков сдвигать не можем. Никаких, – еще раз подтверждает он.

Сталин доволен его ответом. Он разводит руками:

– Вот видите, товарищи. Ничем не могу вам помочь. Ничем. – Он встает.

Ну что ж, все получилось как нельзя лучше, он ни при чем. Он подходит к окну, поднимает белую штору – за окном рассвет, розовое небо полыхает, поднимается над Кремлем. Он смотрит на часы:

Выбор цели. Даниил Александрович Гранин granikdanie1.ru
– Полпятого утра уже. Почему вы приуныли? – удивляется он. – Пойдемте, посмотрим хорошее кино.

И все за ним направляются в кинозал, маленький, на несколько человек, уставленный глубокими креслами. Все рассаживаются, гаснет свет, и начинается «Большой вальс».

На экране едет, мчится под звуки штраусовского вальса карета, катит по солнечной аллее, несутся кони, счастливые лица Штрауса и его возлюбленной, они поют, и в лад им цокают копыта, и мелькают тени раскидистых яблонь, карета движется на нас, покачивается смеющийся кучер, сверкают зубы Милицы Корьюс.

А Курчатов видит на этом экране другое: как впряглись в плуг бабы, тащат на себе цугом, пробуя вспахать землю, как упираются грудью в жердину и босыми ногами в заросшую пашню...

Видит он русскую печь посередине поля – все, что осталось от сожженной деревушки, в этой печи пекут хлеб пополам с корой, голодные ребятишки в ватниках, в каких-то отцовских пиджаках вертятся тут же... Видит он разрушенные кварталы Харькова, обгорелые коробки каменных домов тянутся длинными улицами, переходят в развалины, уже поросшие крапивой.

Видит Курчатов подбитый фашистский самолет, где живут люди, и военные землянки, тоже приспособленные под жилье, и даже в горелом танке живут, потому что надо же где-то жить.

Это не его воображение, а документы кинохроники, то, что он сам видел, то, что безыскусно снимали кинооператоры в те послевоенные месяцы.

А на экране под плавные звуки вальса мчится в венском лесу карета, и молодой Штраус беззаботно напевает свой вальс...

Висят карты, лежат папки с фотографиями. В кабинете Зубавина накурено, людно, за столом министры, генералы, хозяйственники. Совещание кончается. Несколько в стороне, скрытый тенью книжного шкафа, сидит Курчатов.

– Что же делать, – заключает Зубавин, – если другого выхода не найдете, будете лимитировать, даже отключать...

– Да ведь и так на голодном лимите держим, – с отчаянием восклицает молодой человек в очках.

К Курчатову доносятся голоса.

– ...Новороссийский цементный разбит... Минский тракторный... Кировский... Я буду жаловаться в Политбюро...

Зубавин подходит к пожилому усатому начальнику главка.

– Не надо жаловаться, – дружески и очень серьезно говорит он.

Начальник главка опускает голову.

– К сожалению, никаких сроков мы сдвигать не можем, – продолжает Зубавин, обращаясь ко всем. – Никому объяснить тоже не можем. Да, как на войне. – Зубавин идет вдоль стола, сочувственно оглядывая этих видавших виды людей, переживших такую войну, сумевших эвакуировать промышленность, развернуть заводы, построить электростанции в Сибири за короткие сроки, но даже им нынешнее задание не в меру тяжело. – Может, и потруднее, чем на войне, – признается он. – Американцы считают, что атомную проблему мы решим не раньше, чем через десять лет. За это время они хотят диктовать нам... Да, они надеются многое успеть. Ну что ж, часы включены. Строительство объектов будем вести теми же темпами, как разворачивали эвакуированные заводы. Насчет кадров...

Курчатов горбится, пригнутый тяжестью, что все наваливается и наваливается на него. Пожалуй, даже этим людям, у которых отбирают последнее, им и то легче, – лишаться в этом положении легче, чем забирать.

– ..Обкомы партии обеспечат мобилизацию специалистов: строителей, химиков, электриков. Учтите, людей берем на длительный срок. Лучше холостых. Все. Прошу остаться вас и вас...

Люди молча расходятся. Многие из них еще не знают Курчатова, они проходят мимо, не обращая на него внимания, обмениваясь иногда короткими репликами в адрес Зубавина, на него направлено их возмущение.

Курчатов сидит все в той же позе, в опустевшем кабинете, где кроме Зубавина остались генерал и начальник геологического управления. Сцепив руки, он положил их на палку...

Зубавин отдергивает занавеску, открывая карту на стене.

– Прошу сюда, товарищ Николаев. Две танковые части перебросить надо в Сибирь. Сюда. Точный пункт назначения вам дадут к вечеру.

– С боекомплектами? – спрашивает генерал.

Впервые короткая улыбка освещает изможденное лицо Зубавина:

– Нет, лучше с концентратами. Танки помогут расчистить площадки в тайге. После этого вашим ребятам придется остаться работать на стройке. – Он обращается к штатскому: – Твоим изыскателям сколько еще надо?

– Месяц. И не дави, – предупреждает геолог.

– У меня есть всего две недели, – говорит Зубавин. – Боря, прошу тебя, – неожиданно и устало обращается он.

Наконец кабинет опустел.

Зубавин идет вдоль стола, сваливает окурки в большую пепельницу.

– Бедняги... Ну что, довольна твоя душенька? – осуждающе говорит он Курчатову. – Подчистую обираешь... – Он выходит выбросить окурки, но тотчас возвращается, распаленный собственными словами, накопленным гневом. – Ни задавиться, ни зарезаться нечем. Что делаем, что делаем... – Он ходит все быстрее по кабинету, наконец-то давая выход своим чувствам. – Все, что по сусекам, можно сказать, люди сгребли, все забрал. – Он подходит к дверям и говорит Курчатову со всей возможной едкостью: – Да, правду говорят: бог дает денежку, а черт дырочку... И уходит к себе в закуток, с силой хлопнув дверью.

Курчатов встает, открывает захлопнутую дверь: в маленькой узкой комнатке – койка, тумбочка с телефоном; на койку, закинув руки за голову, прилег Зубавин. Огромная фигура Курчатова заполнила эту каморку, нависла над железной койкой.

– Не понимаю смысла этого разговора, – начинает Курчатов. – Если ты думаешь, что я запрашиваю лишку, пожалуйста, соберем экспертную комиссию, устроим проверку.

– Пользуешься?.. А смысл разговора моего тот, что не могу я...

Курчатов поднимает палку, трясет ею:

– А зачем ты мне душу мотаешь? Я ничего этого слушать не желаю. Я беру необходимое и буду брать! И избавьте меня, виталий Петрович, от подобных совещаний!

– Нервы бережешь? – с вызовом спрашивает Зубавин.

– Да, берегу! – с еще большим вызовом отвечает Курчатов.

– Конечно, так оно поспокойнее. Только учтите, Игорь Васильевич... Вы хотите ваших людей вдоволь обеспечить. А может, зря? – С каждым словом Зубавин накаляется, он вынужден сидеть на своей койке, встать он не может, слишком мало места, все свободное пространство занял Курчатов. – Да, да, зря, от недостатка мозги заплывают. Голь-то, она подогадливее.

– Вот что, товарищ Зубавин, – яростно подчеркивая официальный свой тон, выговаривает Курчатов. – Мне дело надо делать. Либо корма жалеть, либо лошадь. Давайте договоримся: то, что мне поручено, я буду делать так, как я это понимаю. – Каждое слово он загоняет молотком. – Устраивает вас – пожалуйста...

Зазвонил телефон. Курчатов в запале, чтоб не мешал, хлопает трубкой о рычаг. Тут Зубавин не выдерживает.

– Да ты что? Ты что хозяйничаешь? – кричит он и, перейдя на непримиримую вежливость, сообщает: – Имейте в виду, Игорь Васильевич, отныне на побряки не надейтесь. Ни одного дня, ни одной минуты!

– А я и не надеюсь!

– И не надейтесь!

– И вы не надейтесь!

– Бессмысленно, не слыша друг друга, они со злостью твердят одно и то же. Опять звонит тот же телефон, и теперь уже Зубавин остервенело хлопает трубкой...

Пушки на башнях повернуты назад. Колонны тяжелых танков, развернувшись уступом, прокладывают дорогу в тайге. Ревут моторы. Облака снежной пыли взлетают от падающих елей. Стелется синий дым выхлопа, сквозь лязг гусениц слышен треск ломаемых стволов. От вывороченных корней летят комья мерзлой земли. Горят огромные костры, темнеют военные палатки.

Столик вкопан в снег. Тут же рации, полевые телефоны. Карты. Танкисты, вместе со штатскими, командуют этой операцией, похожей на сражение. Нежданно появляется Курчатов. В распахнутой шубе, с палкой, он нагрязнул в сопровождении целой свиты. Не слышно, что он говорит, но заметно, как он недоволен. Резко указывает он палкой, куда направить машины, где ускорить работы. Кто-то из генералов пробует ему возражать, и вдруг оказывается, что этот академик, интеллигент, способен ставить генералов по стойке «смирно», что он умеет не только докладывать, но и приказывать. Стремительно шагает он через рытвины и завалы, танкисты из машин смотрят удивленно за этой странной фигурой, столь не похожей на привычных начальников, даже самых больших.

За ним еле поспевают.

У сопков, из передних машин, навстречу ему вылезают геодезисты с приборами. Вбивают колья, натягивают бечевки.

Раскидистый, опушенный снегом кедр вздрагивает под напором танка, но не поддается. Ствол обматывают тросом, танк, взревев, тянет, кедр трещит, рушится, открывая вывороченное нутро земли.

В этом снежно-земляном месиве только Курчатов может вообразить ряды однообразных глухих бетонных зданий, которые вскоре поднимутся здесь, окруженные высоким забором.

За окнами салон-вагона проплывают платформы, груженные станками, автомашинами, барабанами с кабелем. Повсюду на запломбированных вагонах размашисто написано: «В Сибирь». В тамбурах стоит военная охрана.

За большим столом в салон-вагоне идет утреннее чаепитие. Стаканы в подстаканниках, по-походному на бумаге лежат хлеб, сухари, нарезанная колбаса. Халипов пьет чай вприкуску, наслаждаясь, как истый чаевник.

– Что творится, а? – глядя в окно на эшелоны, говорит Таня. – Что творится?..

Со стаканом чая в руке подходит Федя. Еще издали он возглашает:

– Грязный, грязный, как свинья. Я погибаю от грязи, а им и дела нет...

Выбор цели. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru

– Что случилось? – без интереса спрашивает Таня.

– Он опять грязный, этот уран. Что ни делаем, никак не избавиться. Примеси, примеси. В графите примеси, здесь примеси. Свинство! Я умру.

– Это по-мужски, – соглашается Таня. – Лучше умереть в грязи, чем жить в чистоте.

Опустошив очередной стакан и отдышавшись, Халипов продолжает, видимо, прерванный разговор с Изотовым:

– Не согласен. Послушайте, друзья, я считаю, что все же надо поговорить с Зубавиным. Иначе это черт знает чем может кончиться.

– Не знаю, не знаю, – задумчиво повторяет Изотов. – Борода ничего не делает наобум.

Халипов отодвигает стакан, сахарницу, всю посуду, вытаскивает бумаги, раскладывает их.

– Полюбуйтесь! Вы уж простите меня, я так не умею. Я всю жизнь привык сперва производить эксперимент, потом давать заключение. А сейчас надо наоборот. Мало того – посадили в поезд, везут черт знает куда и еще требуют рекомендации! Есть же, в конце концов, профессиональная репутация, честь... Мне моя честь дороже!

– Дороже чего? – задумчиво спрашивает Таня.

– Дороже всего. – Халипов поправил очки, вспомнив, усмехнулся – Знаете выражение – жизнь Родине, честь никому.

Вряд ли Таня знала это выражение, никто из них, молодых, его не знал, немудрено, что они в первую минуту призадумались.

Федя вдруг стучит кулаком по столу:

– А меня никто не слушает! А почему? Потому что у меня нет бороды...

Увидев в дверях салона Зубавина, Халипов сразу же агрессивно обращается к нему:

– Вы хотите спросить, как у нас дела? Плохи у нас дела, плохи. Эксперименты еще не кончены. А мы уже заводы строим. Как лучше – не знаем, а строим. А если ошибемся? Где это видано – стрелять в цель, которая еще не появилась! Зачем вы толкаете на это Курчатова? С вас ведь тоже спросят!

Зубавин садится за стол, не спеша наливает чай.

– Хорошо, если спросят, а то и спрашивать не станут, – благодушно усмехается он, никак не затронутый наскоками Халипова.

Тот недоумевает:

– Тогда зачем же вы? Как же вы...

– А что я могу, если Игорь Васильевич сам предлагает!

– Сам? – Вот чего Халипов, да и остальные не ожидали. – Сам?... Отговорить!

Зубавину остается лишь вздохнуть над подобными советами, все это продумано им и так и этак, и он охотно поясняет.

– Речь, между прочим, идет о том, чтобы выиграть полгода. Полгода! При нынешнем международном положении кто меня слушать станет, всякие мои опасения?... А представьте себе, что Курчатова прав? А?

– Физкульт-привет!.. Федя, ну как, открытие есть? – С этими словами входит Курчатова, веселый, бодрый, потирающий руки от удовольствия энергично начатого дня. Ему освобождают место за столом, и он включается в чаепитие.

Выбор цели. Даниил Александрович Гранин granikdanie1.ru

– Простите, – говорит Халипов Зубавину. – А если Курчатов не прав? Уж больно все это зыбко..

Пауза. Курчатов, улыбаясь, пьет чай.

– Ах, да! Чуть не забыл. У меня же для вас сюрприз, – громче обычного объявляет Зубавин и выкладывает на стол несколько фотоснимков. – Толя, и вы тут есть, – сообщает он Изотову.

– А, да... да, да, – приговаривает Изотов, рассматривая фотографии. – Это Бор... Это мы у него дома. А это Гейзенберг. Это Сциллард..

Это была юная счастливая пора физики, которая больше никогда не повторится. Изотова тогда направили работать в Копенгаген, к Бору, в институт, этот трехэтажный, похожий на школу дом под красной крышей, где играли в пинг-понг, пили без конца кофе и работали все время, даже во сне.

А Гейзенберг был тогда белокурый долговязым парнем, он любил щеголять в кожаных шортах, цитировать древних греков и без конца обсуждать с Бором свои идеи. А венгр Лео Сциллард, который был ассистентом Лауэ и работал у него в Берлине, тоже приезжал к Бору на его собеседования.

Они собирались сюда со всего света, гении и корифеи, старики и мальчишки, путешественники и домоседы, – они все тогда знали друг друга. Мало кто из них еще был похож на свои будущие портреты. Всем им придется заняться бомбой. Одни будут делать ее в Англии, в Америке, другие в Германии и третьи в Советском Союзе.

– А вот там Вейцеккер, – продолжает узнавать Изотов.

Карл фон Вейцеккер, сын германского статс-секретаря, был другом и в какой-то мере учеником Вернера Гейзенберга, получившего уже тогда Нобелевскую премию; он тоже работал тогда у Бора и сделал неплохую работу, кажется, по изометрии.

– А это кто? – спрашивает Курчатов.

– Это? По-моему, Оппенгеймер, – говорит Изотов. – Оппи..

...Стройный, пижонистый, заядлый курильщик, Оппи, который умел быть центром всякого так называемого физического трепа. Ему было за тридцать, он хорошо знал мифологию, но, кажется, по физике у него серьезных работ не было, во всяком случае, Изотов не помнил.

– Да, это Оппенгеймер, – подтверждает Зубавин, – отец атомной бомбы, как его называют в Америке.

На фотографии он в компании других молодых физиков на какой-то улочке Копенгагена. Курчатов разглядывает его, пытаясь выделить, обособить, угадать в этих чертах будущего Оппи.

– И ты тут, Толенька! – восклицает Таня.

– А... это на конгрессе. Помните, вы тогда отказались ехать, Игорь Васильевич?

Да, это было, когда Курчатов только взялся за работу на циклотроне у Халипова. Ему надо было получить пучок, и пришлось отказаться от конгресса. Как давно это было! Кто мог знать, что пройдет много лет, прежде чем он встретится с этими физиками, знакомыми ему по работам, по статьям, по теориям, взглядам, ошибкам, пристрастиям... Тогда казалось, что не на этот конгресс, так на следующий, через год, он тоже поедет к Бору, или в Геттинген, или на Сольвеевский конгресс, да мало ли...

Изотов перебирает снимки с грустью и удивлением. Неужели это он был среди них? До чего ж быстро изменились судьбы и взгляды всех их...

– Эйнштейн... А это старик Лауэ! – узнает Изотов, и нежность непроизвольно прорывается в его голосе.

Выбор цели. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
Эйнштейн – понятно, но Лауэ? На него смотрят недоуменно, и он смущается, хмурится – конечно, в их глазах знаменитый физик Лауэ сейчас – физик гитлеровской Германии, для него же он прежде всего веселый, сердечный человек, тогда он считал его стариком, но вокруг этого старика постоянно звучал смех, он был первый лыжник, первый музыкант и первый автомобилист. И ученый он был первоклассный. Как объяснить им всем, что Лауэ не мог стать нацистом? Он так ненавидел расизм, он не побоялся выступить против избрания фашиста Штарка в Академию наук, он ни черта не боялся, – не может быть, чтобы за эти годы Лауэ изменил свои взгляды. Хотя, наверно, нельзя ручаться, чего только не происходило с людьми за годы войны...

– Да, Лауэ – упрямо повторяет Изотов с нежностью.

– Фон Лауэ! – поправляет Курчатов.

Изотов ничего не может возразить: Курчатов ведь Лауэ не видел, и холодность и даже враждебность его понятны.

Все выяснится еще только через год-полтора, как достойно и мужественно держался Макс фон Лауэ все годы фашизма, вплоть до конца войны. Он был совестью и нравственным примером, доказывая всем, что даже под гнетом фашизма человек мог не согнуться, не сломаться.

– Это Ган... Это Гейзенберг, – показывает Изотов.

Какие они тут все беспутные, ничто еще не разделяет их.

И Гейзенберг, в свитере, в темных очках, и Отто Ган, в клетчатой рубашке, в тирольской шапочке с пером, над чем они хохочут? Отто Ган, неужели и он, этот благородный человек, тоже стал фашиствующим физиком?..

– Так вот, – вдруг прерывает Курчатов. – Американская стратегия нам не подходит. Мы фронт исследований сужаем. Риск? В какой степени? Ну что ж, степень риска, осторожности – все это ведь тоже можно просчитать научно. – Он чертит в воздухе: – Вот выигрыш во времени. А вот степень риска. Наша задача – найти оптимальный вариант...

– Нашел! – вдруг завопил Федя. – Какая голова! Таня, погладьте эту голову! Пощупайте ее, пожалуйста, разрешаю! Голова гения! Я гений! Я сделал великое открытие!.. Нет... Кажется, ерунда. Ерунда...

Курчатов не обращает внимания на его возгласы. Снова его привлекает к себе фотография Оппенгеймера.

– С кем это он?

Огромный, плечистый, грузный человек в форменной рубашке рядом с Оппенгеймером. Они стоят как приятели, позируя фотографу.

– С генералом Гровсом, – поясняет Зубавин. – Начальником Манхэттенского проекта. Снято это, если я не ошибаюсь, году в сорок втором, когда Оппенгеймера назначили руководителем Лос-Аламосской лаборатории.

Курчатов всматривается в фотографию, пытается разгадать, что же за человек этот Оппенгеймер.

Летят за окном заснеженные ели и кедры сибирских лесов, и вдруг они сменяются жаркой аризонской равниной. Кое-где распаханная, засеянная кукурузой и маисом прерии тянутся вплоть до коричневатых-красных скал на горизонте. Проплывают редкие фермы – низкие белые постройки с рекламными щитами.

В купе входит Борис Паш – спортивный, всегда улыбчивый блондин, лишенный каких-либо примет и тем не менее знакомый даже тому, кто видит его впервые. Именно такие лица постоянно улыбаются с рекламных объявлений. Он приятно безлик. Его трудно запомнить, но зато он хорошо запоминает.

– Ваш Оппи на подходе, генерал, – сообщает он Гровсу, сидящему у карты,

Выбор цели. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
разложенной на столе.

Дверь салона открывается. На пороге нерешительно останавливается Роберт Оппенгеймер. Он в пальто, с поднятым воротником. Гровс поднимается ему навстречу, огромный, полнеющий, в расстегнутой генеральской куртке.

– Рад вас видеть, мистер Оппенгеймер, могу сообщить приятную новость – вы утверждены руководителем проекта игрек.

И, отбросив торжественность, приятельски хлопает Оппенгеймера по плечу:

– Поздравляю, Оппи. Мне пришлось крепко повоевать за вас. Некоторым нашим бюрократам хотелось чего-то посолиднее, например Нобелевского лауреата!.. – Он смеется, с грубоватой прямоотой добавляет: – Да и прошлое ваше не очень устраивало. Но я поручился.. Ну ладно, располагайтесь, и за работу. Мы поэтому и здесь. Пора решать – где разместить ваш атомный центр.

Оппенгеймер, сбросив пальто, садится к карте, они начинают работать.

– Да, да.. Я думал.. Лучше всего в Санта-фе, там есть прекрасное плато, неподалеку от Лос-Анджелеса.. У меня тут ранчо неподалеку, – поясняет Оппи. – Правда, в Санта-фе я давно не бывал, лет восемь..

– Девять, – вдруг с улыбочкой поправляет Паш.

Оппи внимательно смотрит на него.

– Ну что ж, давайте сразу поедem туда, – решает Гровс, – дорог каждый день. У русских все трещит. Сталинград не сегодня-завтра падет. И тогда.. – Гровс машет рукой.

– Вы так полагаете? – недоверчиво спрашивает Оппенгеймер.

– А вы? – с интересом проверяет Паш.

– Я думаю несколько иначе, – твердо говорит Оппенгеймер. – Я думаю, что русские удержат Сталинград.

– Вы высокого мнения о них, – вежливо говорит Паш и смотрит на Гровса с уличающей, не очень понятной Оппенгеймеру усмешкой.

Гровс хмуро прокладывает на карте трассу.

– У вас какой-то знакомый акцент, – задумчиво замечает Оппи.

Паш доволен:

– Знакомый, да? Я русский. Правда, не из тех, кто вам нравится.

– Простите, а кто же вы по профессии? – невозмутимо и как бы наивно спрашивает Оппенгеймер.

Паш, улыбаясь, молчит. Гровс громко смеется:

– Борис Паш – познакомьтесь! Кто он по профессии? Бейсбольный тренер! Спортивный авторитет! – чуть мстительно подкалывает этого приставленного к ним Паша и смеется, превращая все в шутку. – Вы должны понять, Оппи, эта штука не просто бомба. Вы думали об этом?

Оппи встает. За окном по красному от заката плато на лошади скачет мальчик.

– Я думал о другом, вы никогда не задавались вопросом – почему Данте отправил Вергилия искать истину в ад, а не в рай? – Голос Оппи становится опасно острым. – Может, мы берем на себя смертный грех. Никто не знает, чем это все кончится, но сегодня я не могу заботиться о своей душе. Для меня.. для физика это единственная возможность воевать с фашизмом, не дожидаясь вашего фронта..

А за окном вагона смеркается, какой-то городок проносится, мелькая вспыхами

Выбор цели. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
цветных реклам, гудит под колесами мост, и снова огни прочерчивают широкое
вагонное стекло.

Поезд, поскрипывая тормозами, останавливается на большой узловой станции.

Курчатов, стоя у окна, наблюдает привокзальную толчею тех лет. Пути забиты
теплушками. Возвращаются домой реэвакуированные, с детьми, с чемоданами.
Демобилизованные солдаты тоже возвращаются, но эти на Восток, хотя есть и такие,
кто едет с японского фронта. И те, кто никуда не возвращается, а ищут, куда бы
податься. Вокзал забит спящими, ждущими поездов, люди обосновались в садике,
вдоль стен, с ребяташками, со всем своим скарбом, тут же едят, меняют хлеб,
консервы, махорку на белье, на подметки, кто на что. Вокзальная торговля идет
быстро, без споров и сожалений. Стоят неубывающие очереди к ларькам, где дают по
аттестатам, очередь с чайниками за кипятком.

Тянутся длинные дощатые прилавки, за которыми продают местные – кто вареную
картошку, кто семечки, кто сухари.

Халипов с Изотовым прогуливаются по перрону. Толпа окружила сидящего на
подстилке безногого. Идет игра в три листика. Вдруг Изотов кидается к однорукому
солдату. Они обнимаются, в полном счастье трясут друг друга, и начинается
неслышный Курчатову выразительный разговор фронтовых друзей, расспросы, ахи,
вздохи...

Гудок, поезд трогается. Изотов все не может оторваться, бежит, оглядываясь на
дружка, вскакивает на ходу, расстроенный, мрачный.

Проходит по тряскому коридору мимо строя полированных дверей, не отвечая на
вопросительный взгляд Тани, идет к себе в купе, достает зеленую бутылку водки,
наливает в стакан. Выпивает. Сидит, стиснув голову, глядя в мелькающую мимо
лесную глушь.

Курчатов работает у себя в купе, пьет чай, синька разложена у него на коленях.

Стук в дверь, входит Изотов с шахматами в руках:

– Сыграем, Игорь Васильевич?

– Сыграем.

Изотов усаживается напротив, открывает доску, расставляет фигурки.

– Выпил? – спрашивает Курчатов.

– Выпил.

Они разыгрывают цвет и начинают партию. Изотов вслушивается в перестук колес и
вдруг начинает читать Блока:

Вагоны шли привычной линией,
Подрагивали и скрипели,
Молчали желтые и синие,
В зеленых плакали и пели...

Потом спрашивает:

– Помните эти стихи. Игорь Васильевич? Вот мы с вами в желтых или синих... едем... А
куда едем? От кого? Лично я еду от своего фронтового дружка Васи Фролова.
Тороплюсь. Некогда мне. Не до него. Что мне судьба Васи Фролова, с которым
вместе в танке... Я ведь судьбы человечества решаю, бомбу делаю, это важнее, это
высшая цель. Оправдание жизни. А если не оправдание?... Не хочу! Не хочу!

– Чего не хочешь? – обдумывая ход, интересуется Курчатов.

– Ну, сделаем мы бомбу, сделаем... А потом нас спросят: а что кроме бомбы дает
людям ваша наука? Или мы так и останемся: «Люди, которые сделали бомбу?» Вот
чего я не хочу.

Курчатова раздражают излияния Изотова, но он сдерживает себя, пытается притушить спор, свести на шутку:

– А знаешь, мы ведь еще ее не сделали.

– Сделаем, не беспокойтесь, сделаем, ничем не хуже Оппенгеймеров и прочих, таких же...

Вот тут Курчатова зацепляет:

– Нет, не такие же! Не желаю быть таким же.

– А-а-а... конечно, мы вынуждены делать, это нас оправдывает, – обрадовался Изотов. – Мы имеем право не терзаться сомнениями, ни о чем не думать... Лучше ни о чем лишнем не думать, беречь рабочее настроение. Нам нельзя отвлекаться. Нильс Бор, тот пусть мучается, ему положено, буржуазный специалист, прослойка!..

Наконец-то ему есть на кого взвалить свои сомнения, Курчатова силен, он выдержит – Изотов не замечает, как жестока его откровенность, это жестокость любви – она безжалостна.

– Скажи, пожалуйста, в чем ты можешь упрекнуть себя? – говорит Курчатова. – Вот я тебя могу упрекнуть: дела не сделали, а ты уже в сторону глядишь, тебя на ускорители тянет, мирное использование... Между прочим, тебя не для этого с фронта отзывали. Небось когда с фронта писал: «Надо работать над бомбой», тебе все ясно было, а теперь что же?

– А теперь не война, Игорь Васильевич. Можно думать о другом. Ведь я же совсем думать перестал. Кто я? Машина для производства опытов. А какие у машины угрызения? Ей чем меньше угрызений, тем лучше. Считаешь, если мы бомбы не сбрасывали, значит, мы чистенькие? Я себе тоже так доказывал. Но совесть понятие не относительное. Или она есть, или ее нет.

Курчатова в гневе сгребает шахматы с доски, с грохотом укладывает их. Невозможно в этом тесном купе ему разрядиться в движении.

– Иди-ка ты со своими угрызениями знаешь куда... Думать стал! Вот и думай – какое мы имеем право ехать в комфорте, за счет кого это все? И ковыряешься в душе своей за чей счет? Ты мне все это говоришь почему? Потому что знаешь, что я себе такого позволить не могу. Я сомневаться не имею права. Да. Знаю – найдутся люди, которые будут считать, что мы и этот Оппенгеймер одним миром мазаны. Осудят нас... Я это не беру в расчет. И даже тех не беру в расчет, кто еще через годы поймет всю разницу между американцами и нами. Мне себя не жалко. Каким я буду выглядеть? Плевать мне на то, как меня будут расценивать в будущем! Я делаю дело не в расчете на место в истории. Мне важен суд моих соотечественников, моего народа, а в будущем... Если будущее будет и будут жить в нем потомки наши, самое главное, что они будут жить! Что хочешь мне говори, а я буду думать только одно: успеть, успеть! Мы успеть должны! – кричит он, и огромная ручища его трясет Изотова. – Вот вся моя нравственность! Они там, эти американцы, создали себе эти проблемы, пусть и расхлебывают. А для меня нет этих проблем. Нет! Понятно? И для тебя нет, мир не обеспечишь призывами даже самых лучших людей, таких, как Бор. Это все слова! А вот когда у нас бомба будет – вот тогда можно будет и разговаривать, и договариваться!.. А у нас с тобой проблема, если хочешь знать, пострашнее, чем у них у всех, самое страшное... Это...

В последнюю минуту осаживает себя на полном ходу. Лицо его каменеет, сжимается, так что проступает широкая кость. Он выходит из купе, заставляя себя не хлопнуть дверью, а медленно с силой притворить ее.

Изотов сидит. Стучат колеса, все громче, громче.

Высокий, сияющий огнями зал. Между мрамором колонн течет разодетая толпа, снуют официанты с подносами. Идет какой-то официальный прием, один из бесчисленных приемов, какие задавались в конце войны, когда в единодушии близкой победы соединялись дипломаты с военными, негры с белыми, ученые с чиновниками. Мужчины сегодня во фраках, женщины в пышных туалетах того времени, блистающие

Выбор цели. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru драгоценностями и ослепительными вырезами. Роберт Оппенгеймер чувствует себя в этом обществе великолепно, он весел, игрив, возбужден, зарницы восходящей славы сияют над его головой. Он знает, что здесь ловят каждое его слово, каждый жест.

Гровс проходит сквозь эту светскую толпу, небрежно раскланиваясь, грубовато-неуклюжий. Генеральский мундир его измятый, отнюдь не парадный. Только широкие полосы орденских планок украшают его. Прислонясь к колонне, Гровс свысока, и в смысле роста, и в смысле выражения лица, оглядывает, процеживает проходящих, пока не находит Оппенгеймера, и выходит ему навстречу.

– Хелло, Гровс! – замечает его Оппи без особой радости.

Безмятежно улыбаясь, Гровс берет его под руку. Вряд ли Оппенгеймеру приятна демонстрация этой близости, но он сохраняет беззаботность и даже улыбку воспитанного человека. Подозвав официанта, они берут по стакану виски и отходят в сторону, отыскав пустой столик. Оппенгеймер садится на диванчик, помешивает лед в стакане. Голос Гровса доходит к нему обрывками фраз, то отчетливо громкий, то невнятно стихающий:

– ...если проявить характер, ферми вас поддержит. И Лоуренс... Комитет должен вынести рекомендацию... Это же ваше детище... Оппи, ради чего вы вкальвали четыре года... весь мир узнает и ахнет...

Оппенгеймер допивает виски, нетерпеливо бренчит льдом в пустом стакане, как в колокольчик.

– Когда-то, Гровс, мне хотелось самому довести эту штуку до конца, я благодарен за то, что вы позволили мне это сделать и даже защитили меня. – фразы его отчетливы и вежливо-холодны, он отстраняет ласковые заходы Гровса и его грубую генеральскую лесть. Пришла пора поставить этого солдафона на место. – Наверное, после всего, что было, вы думаете, что буду плясать под вашу дудку?

Он внимательно наблюдает за реакцией Гровса – сказано достаточно откровенно, однако Гровс делает вид, что ничего не произошло, он не обиделся, он неуязвимо добродушен.

– Эти битые горшки попросту завидуют вашей славе, – продолжает свое Гровс.

Оппи презрительно хмыкает на примитивную хитрость:

– Не воображайте, Гровс, что вы можете играть на моем тщеславии. Моя репутация в глазах этих битых горшков дороже мне, чем вы полагаете, и даже...

– Ах, ваша репутация! – с вызовом подхватывает Гровс. И умолкает, растягивая опасную, угрожающую паузу.

Но тут Оппи уклоняется, ему выгодно зайти с другого бока.

– Послушайте, Гровс, на кой черт вам приспичило сбрасывать бомбу?

– Чтобы ускорить мир. – Гровс откровенно посмеивается. – Чтобы показать, что мы не зря потратили деньги, чтобы утвердить наш приоритет.

Оппенгеймер доволен, он правильно рассчитал, с наслаждением он вытягивает ноги, берет у проходящего официанта еще виски.

– Не морочьте мне голову, Гровс, плевать вам на мир и на приоритет. Вы хотите запугать Россию. Запугать всех. Думаете, я не понимаю? Вы меня изучали, но и я вас изучил. И хватит. Мы квиты. Я буду на комитете голосовать, как я хочу. И нечего меня обрабатывать.

Все, казалось бы, все, но Гровс спокойно пьет, разглядывая стакан на свет, ничего не дрогнуло в этой глыбе, затянутой в мундир, железная решимость Оппенгеймера несколько не подействовала на него.

– Мы квиты, – повторяет Оппи, чтобы пробить толстокожесть этого кабана.

И тогда Гровс улыбается. Предостерегающе. Чуть приоткрывая свои козыри. И

Выбор цели. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
Оппенгеймер не выдерживает, срывается на крик:

– Мне надоело, не боюсь я вас, со всеми вашими агентами, микрофонами, кинокамерами... Убирайтесь отсюда!

А рядом, за колоннами, так же заманчиво струится нарядная веселая толпа, занятая светскими разговорами, шутками, мелькают обнаженные женские руки, слышен смех и звон бокалов.

– Убирайтесь отсюда!

Но Гровс и не думает уходить. От этого вскрика ему становится грустно. Утешая себя, он отпивает виски и говорит с жалостью:

– Бедный маленький Оппи, вы слишком многим пожертвовали – вот в чем была ваша ошибка... – Он кладет свою громадную руку на плечо Оппи, грубовато, бесцеремонно встряхивает его. – У вас нет своей репутации. Запомните это. Ваша репутация – вот она где... – Он чуть касается своего бокового кармана, набитого бумагами. – Хотите, я вам напомню, как вы продали своего друга Шевалье? – Гровс брезгливо морщится: этот Оппи сам попросился, идиот, честное слово, он изрядный идиот, этот великий и прославленный корифей... – Вас никто не тянул за язык... Ведь он был неплохой парень, этот Шевалье. Хотя и коммунист. А?.. Думаете, нам неизвестно, отчего покончила с собой ваша любовница? Славная была девочка. Как ее звали? – Подождав, Гровс со вздохом напоминает: – Джейн? Знаете, Оппи, я солдат, и не очень мне приятно копаться в этой вашей грязи. Но типы, подобные Пашу, знают свое дело... – Он примиряюще накрывает своей рукой руку Оппенгеймера, но тот яростно сбрасывает ее.

– Ненавижу вас! Какой вы солдат... – Гнев душит его, он сжимает кулаки. – Ублюдок! – отчетливо произносит он. – Не боюсь! Не боюсь вас! – Он встает и совершенно прямо, слишком прямо уходит с застывшей усмешкой.

Гровс провожает его глазами. Такой же огромный, невозмутимый. Пожалуй, он чуть погрустнел, сочувствуя этому естественному, но бесполезному трепыханию маленького Оппи.

У входа в свой номер Оппенгеймер сбрасывает черные лакированные туфли, в одних носках входит в темный холл. Там, у окна, в глубоком кресле, при неровном мигающем свете уличных реклам, сидит человек. Оппи останавливается, пальто на плече, туфли в руках.

– Шевалье? – в ужасе узнает он.

– ...Все же я не понимаю, Оппи, почему вы скрываете свои работы от русских? – доносится в ответ давний вопрос Шевалье. Это его, его голос, мягкий, доверчивый. – Они же наши союзники, они воюют, как никто...

Оппи зажигает свет: просторный холл пуст, в кресле никого, за окном вспыхивает и гаснет реклама.

Пошатываясь, он бредет к ванной комнате. Лицо его в поту, глаза блуждают. Из ванной слышится шум воды, он распахивает дверь. За занавеской под душем моется женщина. Это Джейн, очертания ее тела просвечивают, движутся. Он отшатывается, захлопывает дверь, но тут же снова распахивает ее, отдергивает занавеску. Никого. Он один в этой слепяще-белой холодно-кафельной ванной. Он сует голову под кран, пытаясь прийти в себя, освободиться от преследующих призраков.

Он садится на унитаз, вода с волос, с лица стекает на его накрахмаленную сорочку, на черный фрак. Мокрый, измученный, он, медленно трезвея, смотрит на белый ровный кафель, окруживший его со всех сторон.

– Господи, какой ты смешной, Оппи! – говорит Джейн, наклоняясь к нему: они сидят за стойкой какого-то бара, а может, ресторана, потому что кругом танцуют, и они тоже танцуют, и снова пьют за столиком. Джейн водит пальцем по его щекам, разглаживает морщинки в углах губ, он любит ее, какая она красивая, и вдруг говорит:

Выбор цели. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru

– Джейн, мы больше не увидимся. Мы должны расстаться.

– Почему? – Она ничего не понимает. – Почему?

Щелкает затвор фотоаппарата. Короткий металлический звук – как звук взведенного курка. Перо в чьей-то руке обводит чернильным кругом лицо Джейн на фотографии.

Спина Паша, его круглый, ровно подстриженный затылок.

Он за канцелярским столом. Напротив на табурете сидит Джейн. Яркий белый свет лампы направлен ей в лицо.

– Выгораживаете своего друга? Напрасно, – предупреждает Паш. Он допрашивает с удовольствием, и с еще большим удовольствием выкладывает ей в лицо про Оппенгеймера: – Он все рассказал нам, все... и как Шевалье подкатывался к нему, все вытряхнул... вы все одна шайка коммунистов. Ах ты простушка, ты, поди, считала его полубогом? А ты знаешь, что стоило чуть пригрозить, и он наложил полные штаны, твой святой Оппи?.. Он от всех вас готов отречься, плевать ему...

Джейн бежит по ночной пустынной улице. Белые снопы света ловят ее, скрещиваются на ее фигуре, как лучи прожекторов, не отпуская следуют за ней, настигают ее в воздухе, когда тело ее летит с Бруклинского моста к застылой поблескивающей далеко внизу глади воды.

– Оппи! Оппи!..

Крик этот настигает его в кабинете военного министра США Стимсона.

Идет заседание комитета по выбору цели.

На стене карта Тихоокеанского театра военных действий на июнь 1945 года. Острова Японии окружены флажками.

– ..Атомный удар несомненно ускорит конец войны. Прежде всего мы должны побережь жизнь наших американских солдат, – говорит генерал Маршалл, начальник штаба сухопутных войск.

– Почему именно атомный? – не соглашается адмирал Леги, который был начальником штаба Верховного Главнокомандующего. – Японские города перенаселены. Там большая скученность. Это классический объект для самой обычной авиации.

– Да потому, что нам важен элемент психологический, – настаивает Маршалл. – Удар будет такой сокрушительный, что любой дух будет сломлен. Все сразу решится. Никто и не подумает о продолжении войны.

– А вы уверены, что японцы еще хотят продолжать? – спрашивает Леги.

Стимсон, который сидит во главе стола и ведет заседание, примирительно стучит по столу.

Они сидят в высоких кожаных креслах, удобных для заседаний. Все они люди в возрасте и привыкли относиться к этим заседаниям достаточно цинично, но сегодня действительно кое-что решается. Стимсон понимает, что от них не зависит, сбрасывать бомбу или нет. От них зависит лишь, куда сбросить. Он реалист и не хочет зря тратить время и возбуждать какие-то надежды у этого славного старика Леги.

– Господа! По поручению президента комитет ученых вынес рекомендации. Прошу вас, профессор Оппенгеймер.

Он допущен. Штатский. Его считают своим эти мундиры всех цветов, увешанные орденами, украшенные золотым шитьем. Точнее – почти своим.

– Я не знаю военного положения Японии, – начинает Оппенгеймер. – Если можно заставить ее капитулировать другими средствами...

Он ни на кого не смотрит, он смотрит в сырую ночь, где летит с моста Джейн...

Стимсон с усмешкой косится на Гровса. Не выдержав, Гровс перебивает Оппенгеймера:

– Простите, профессор, мы так никогда не доберемся до существа.

Оппенгеймер умолкает. Никто не вмешивается. Все ждут, что произойдет. Это не секунды, а миги последнего сопротивления Оппенгеймера, он все еще пытается удержаться... А потом что-то происходит. То есть в том-то и штука, что ничего, совсем ничего не происходит, если не считать возросшего до невыносимости напряжения.

– Для выявления максимального эффекта атомной бомбы, – начинает Оппенгеймер совершенно новым, бесцветно-ровным голосом, – избранные объекты должны представлять тесно застроенную площадь на равнине, желательны деревянные постройки. Они создадут дополнительный эффект из-за пожаров. Чтобы воздействие бомбы было достаточно наглядным, цель следует выбирать из объектов, которые еще не подвергались бомбардировке...

Леги с шумом отодвигает свое кресло. Чего угодно, но этого он не ожидал, и от кого, от этого шпака!..

– Такая война не для моряка моего поколения.

Надо отдать должное Гровсу, мгновенно он срабатывает в защиту своего компаньона:

– Профессор Оппенгеймер докладывает техническое заключение, – подчеркивает он и, не дожидаясь продолжения, кладет на стол фотографии намеченных к уничтожению городов. – Наш комитет по выбору цели должен на случай облачности предложить на выбор не менее трех-четырёх городов-мишеней. Нам нужно визуальное бомбометание.

– Что выбрано конкретно? – спрашивает Стимсон.

– Хиросима, двести тысяч жителей, двадцать пять тысяч солдат, армейские склады, порты; Ниигата – порт, двести тысяч жителей, промышленность; Киото, миллион жителей, культурно-промышленный центр...

Поворачиваясь в вертящихся креслах, они передают друг другу большие фотографии – снимки городов сверху, снимки площадей, узких многолюдных улочек, парков, дворцов. Чья-то рука держит фотографию храма со сложным и тонким рисунком крыш и лакированными колоннами, длинная процессия паломников тянется к храму, где восседает гигантский Будда.

Но члены комитета выше Будды, они боги богов, они решают судьбы храмов и городов, сотен тысяч людей – кто из них останется на земле, а кто исчезнет, испарится вместе с дворцами, синтоистскими храмами и буддистскими храмами и школами...

– ...Нагасаки, порт, триста тысяч жителей.

– В Нагасаки лагерь наших военнопленных, – вспоминает адмирал Леги.

– Но там японские военные доки, – настаивает Гровс.

– Вот в них-то и работают военнопленные.

Гровс идет на уступку:

– Тогда есть Киото. Прекрасная цель. Большая площадь застройки. Можно точно определить радиус разрушения.

Стимсон рассматривает фотопанораму Киото с его пагодами, садами, с золотыми павильонами, великолепный замок Нидзе, императорскую виллу Капура, ярко-красный лакированный храм...

– Киото... невозможно, – говорит Стимсон, – невысказанно, это же древняя столица Японии. Я там был. Боже, какие там дивные памятники старины!.. Нет, лучше пусть останется Нагасаки...

Выбор цели. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru

– Думаю все же, что наше дело заботиться не о памятниках, – твердо возражает Гровс. – Киото имеет наибольшую площадь, и для меня как для военного человека это лучшая цель.

Стимсон покачивается на стуле, сохраняя внушительность и уверенность министра, ему надо осадить этого генерала, который сейчас чувствует себя хозяином положения: он владелец нового оружия. И кажется, такого оружия, которое сделает все их штабы, и корабли, и военных, и академии – ненужными... Отныне и вовеки веков?.. Война кончена, но война начинается.

– К счастью, Гровс, нам приходится думать не только о наших интересах.

В одной руке фотография Киото, в другой – Нагасаки. Они решают, они делают выбор, кому остаться на этой земле...

Последний взгляд на Нагасаки, и на месте города разливается море огня. Пламенные смерчи поднимают в небо крыши домов. Плавится железо, течет камень, все превращается в прах, в летучий смертоносный пепел.

На бетонном полу котлована с помощью мостового крана физики выкладывают графитовые и урановые блоки. Растет основание реактора, диаметр его около восьми метров. Блоки урана и графита складываются специальной решеткой. Тянутся провода от счетчиков нейтронов, от неоновых сигнальных ламп. Каждый слой укладывается с величайшей предосторожностью. Восемнадцатый... двадцать первый...

Сколько намучились с этим графитом, пока стали получать от заводов вот эти чистые плотные бруски. А урановые блоки кругленькие, с тусклым желтоватым блеском.

Гуляев наносит точки на график. Кривая должна показать, как возрастает плотность нейтронов с каждым законченным слоем. На схеме реактора каждая ступенька – слой – отмечена номером. Всего их семьдесят. Гуляев обводит кружком тридцатку. Уложен тридцатый слой.

Курчатов вычисляет с логарифмической линейкой в руках.

– Теперь каждый слой строите с вдвинутыми предохранительными стержнями.

Три кадмиевых стержня спущены в каналы.

– Вот сюда... Аккуратнее. Ими регулировать и останавливать. Иначе...

Над котлованом в дюралевых трубах висят кадмиевые стержни. В любой момент по сигналу они падают в каналы реактора. Это надо, чтобы быстро погасить цепную реакцию. На аварийный случай. Потому что всякое могло быть.

Курчатов возвращается к себе, у дверей кабинета его поджидает Федя.

– Волнуетесь, Игорь Васильевич?

Напряженная деловитость Курчатова как бы спотыкается. И вдруг, неожиданно для себя, доверчиво решается:

– я? Очень.

– я тоже, – с облегчением и даже радостно признается Федя. И обоим от этого признания становится спокойнее.

Все с большей осторожностью идет укладка блоков. Плотность нейтронов растет. Уже вспыхивают неоновые лампы на пульте управления. Раздаются щелчки нейтронных датчиков.

Пятьдесят восьмой слой. Быстро поднимаются стержни. На короткое время слышны щелчки.

Выбор цели. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru

– Все в порядке. Приближаемся, – говорит Гуляев.

Он звонит по телефону:

– Игорь Васильевич, уложили шестидесятый слой... Хорошо... Ждем...

– Придется всем уйти, – говорит Гуляев.

Курчатов приходит, осматривает пульт, оглядывает график, проверяет приборы радиационной опасности.

– Игорь Васильевич, ну как, попробуем?

– Рано.

– Я знаю, что рано, а все же...

Курчатов почесывает бороду:

– Мне самому не терпится. Ладно. Давай. Поднять стержни, – командует он.

Гуляев нажимает кнопку управления, поднимая предохранительные стержни. Громкоговорители отщелкивают редкие удары. Вяло вспыхивают и гаснут неоновые лампы.

– Маловато... – Гуляев разочарованно смотрит на счетчики. – Что-то не того.

Перо самописца еще немного ползет вверх и переходит на горизонтальную линию.

– Почему нет нейтронов? – спрашивает Гуляев.

– А может, опять где-нибудь грязь? – говорит Федя.

– У тебя одна надежда на грязь. Тысячу раз проверили. Самые чистые блоки отбирали. – Гуляев потирает щеку, оставляя черноту графита на и без того уже измазанной физиономии.

Не обращая на них внимания, Курчатов разглядывает графики.

– Прекрасно, идем дальше, – решает он.

Гуляев молча опускает стержни. Смолкают громкоговорители, гаснут лампы. Федя и Гуляев недоверчиво следят за Курчатовым, но он, не отвечая, уходит.

Белые стены котлована почернели. Пыль, как сажа, покрывает пол, который стал скользким, люди в халатах, в защитных очках ступают осторожно. Лица их тоже черны, блестят лишь зубы и белки глаз.

Черная громада реактора растет

Кладка идет уже на лесах.

На пульте Гуляев обводит кружком цифру 60. Осторожно, рывками, Курчатов сам поднимает предохранительные стержни. Дробь в громкоговорителях нарастает. Учащенно вспыхивают неоновые лампы.

Курчатов неотрывно следит за круглым пятнышком – зайчиком гальванометра. Кажется, что вот-вот зайчик дрогнет, двинется. Но идут минуты, зайчик остается на месте. И частота щелчков больше не увеличивается.

Волнение людей спадает. Наваливается разочарование, усталость.

Курчатов опускает стержни. Лампы гаснут.

Курчатов, Гуляев, Федя садятся за графики, проверяя расчеты.

Пользуясь перерывом, люди дремлют, некоторые от усталости засыпают тут же на стульях.

Выбор цели. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru

– Реакция может вот-вот начаться, – бормочет Курчатов, работая линейкой и нанося на график последние точки. – Ну, что у тебя, Федя?

Кривая, которую вычерчивает Федя, пересекается с линией графика на уровне шестьдесят второго слоя.

– Еще бы сантиметров на десять поднять стержень.

Курчатов молча разглядывает график.

– Кто его знает, может, десять, а может, двадцать, – нервничает Гуляев.

Раздается чей-то могучий всхрип. Гуляев вздрагивает.

– Фу, черт.

– Это Павлов храпит, – смеется Курчатов, – а ты думал, начался разгон реактора...

– Хуже нет работать вслепую.

Все ждут от Курчатова ответа. Он должен знать. Он должен принять решение. В эту минуту никто не думает – откуда ему знать.

Помедлив, Курчатов подытоживает:

– Будем пробовать при шестидесяти двух слоях!

– А ведь может и фукнуть! – мрачно заявляет Гуляев.

– Не должно! – Федя задумывается. – А впрочем... Ну и хай поднимется... – Гуляев вздыхает.

– Тебя это уже не будет касаться, – утешает его Курчатов.

– Обидно что? Что не узнаем, в чем была ошибка.

– Кроме того, он может расплавиться, – меланхолично отмечает Федя. – Управлять мы еще не умеем. Как-никак это первый реактор. Бог знает, что мы рожаем – беспомощное дите или дракона...

– Понесло.

Но Курчатов слушает Федю с удовольствием.

– А что, в каком-то высшем смысле он прав? А? – поддразнивает он Гуляева.

Идет кладка следующего слоя.

Часы показывают час ночи.

Павлов, что стоит наверху, подстраховывая аварийный сброс стержней, жалуется:

– Неужели Новый год будем тут встречать?

Гуляев обводит кружком цифру 62.

– Начинаем?

Курчатов оглядывает помещение.

– Выйдите, Федя.

– Игорь Васильевич, ни за что. Теоретики тоже люди.

Курчатов, пожав плечами, нажимает кнопку. Медленно поднимаются стержни. Дробь усиливается, неоновые вспышки учащаются. Перо самописца идет вверх. Гуляев и Федя сияют, но тут Гуляев подталкивает Федю локтем, они видят, как Курчатов

Выбор цели. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
напряженно вслушивается.

– Что-то учуял, – говорит Гуляев.

– Где?

– Не знаю.

Перо самописца замирает и переходит на горизонтальную линию. Щелчки обретают определенный ритм.

– Стоп! – командует Курчатов.

Гуляев опускает стержни. Становится темно и тихо.

– Реакция не самоподдерживающаяся, – произносит Курчатов.

На него смотрят с надеждой. В эти решающие минуты все доверились ему, они хотят видеть в нем всезнающего, всеведущего. Они убеждены, что он догадается, что происходит в реакторе.

– Может, отложим?.. – нерешительно предлагает Федя. – Соснем?

Курчатов встряхивается, встает, расправляя плечи.

– Неужели вы могли бы уснуть, Федя?.. Я – нет. – Азарт охватывает его, он снова свеж, бодр, полон вызова. – Мы кто? Мы солдаты. А солдаты себя не должны... Что?

– Жалеть! – отвечают все хором.

– Верно. Отдохнем и поднимем еще. Это вам не теория, а техника, со всеми последствиями, – подмигивает он своим помощникам.

Часы показывают пять.

В дверях Таня, за ней теснятся еще несколько сотрудников.

– Игорь Васильевич... разрешите нам присутствовать... Мы поможем.

– Нет, спасибо, – холодно отказывает Курчатов, – я сказал: всем удалиться.

Таня вспыскивает от возмущения:

– Господи, одни герои вокруг, ни одного нормального человека! Скоро у них над головами нимбы появятся!.. – Она в сердцах хлопает дверью.

Раздаются краткие команды Курчатова:

– Чуть выше... Еще... Еще...

Щелкают громкоговорители. Поднимаются стержни. Реакция нарастает. Курчатов следит за пером самописца, щелчки убабываются.

Федя, не выдержав, отворачивается от приборов.

– Еще немного, – командует Курчатов.

И вдруг репродуктор захлебывается пулеметной дробью, дробь переходит в слитный сплошной вой. Линия самописца безостановочно ползет вверх. Неоновые вспышки сливаются в ало-желтое сияние. И хотя все понимают, что произошло, секунду-другую еще слушают, не решаясь поверить, смотрят на Курчатова. Зайчик гальванометра отклоняется все быстрее и быстрее.

– Заговорил! – кричит Курчатов и смеется от счастья, потирает красные глаза. – Поздравляю! Вот они, первые сто ватт от реакции деления!

Гремит общее «Урра!»

Выбор цели. Даниил Александрович Гранин granikdanie1.ru
Гуляев обнимает Федю:

– Варит котелок!..

– Стоп! – командует Курчатов и нажимает кнопку аварийного сброса стержней. Все смолкает, гаснут лампы, щелчки раздаются все реже. Реакция погашена. Эта покорность реактора тоже вызвала радость.

– Игорь Васильевич, – умоляет Гуляев, – попробуем еще разогнать? Поднимем?

Курчатов покачивает головой.

– Нельзя. Слышал? – Он показывает на импульсную установку. – Она пощелкивала. Значит, уже сюда попадает. Мы не знаем, какое излучение мы получим.

– Двадцать шестое декабря тысяча девятьсот сорок шестого года, – торжественно провозглашает Федя. – Шесть часов вечера. Атомная энергия у нас в руках!

– Тьфу, тьфу, тьфу, – сплевывает через плечо Гуляев.

– Митинги отменяются, – говорит Курчатов, – вот теперь пора и над собой поработать!

– Игорь Васильевич, неужели вы сможете заснуть? – спрашивает Федя.

– Еще как!

Они выходят грязные, потные, счастливые, скрипит снег. Земля гулко звенит под ногами, словно поляя, словно они шагают по упругому настилу – легкие, не знающие земного притяжения.

В окнах домов светятся цветные огни елок. Где-то рядом обтесывают комель елки, и стук топора звучит после сухих щелчков сочно и весело.

Они неузнаваемо нарядны: впервые перед всеми Зубавин в черном костюме, при галстуке, а кто-то даже с бабочкой-«кисой», мужчины начищены, наглажены, женщины в вечерних туалетах. Впрочем, все относительно – какие вечерние туалеты могли быть под Новый 1947 год, первый полностью мирный год? У кого черная юбка с белой кофточкой, у кого шерстяное платье, украшенное бусами. Ах, да в этом ли дело, главное, что в углу сияет елка, пахнет духами, хвоей, главное, что весело, как давно уже не было весело.

Встречают у Курчатовых. Приехал Абрам Федорович Иоффе. Его усадили в центре самодеятельного оркестра, и он до того «разошелся», что играет на барабанчике. Тут же играют на гребенке, на дудке и прочих инструментах. Не просто играют, а аккомпанируют хору, составленному из трех бородачей. У них нацеплены длинные «курчатовские» бородки, все они одеты «под него», и держатся «под него», и поют его голосом:

Академик я молодой,
А хожу все с бородой.
Я не беспокоюсь –
Пусть растет до пояса.
Вот как только с бомбой сладим,
Буду бриться, как все дяди,
Бриться, бриться, умываться,
Атомными электростанциями
В мирных целях
За-а-ниматься!

В этот час их смешит и радует любая малость. Шутка ли – пущен реактор, работает, ведь начинали когда, еще в 1943 году, в самую войну, в Москве, и все было по-военному: пульт в землянке, нейтронная пушка в палатке, кругом пустынное ветреное поле, и круглые сутки тикают часовые механизмы приборов, и не гаснет свет в землянке.

Первый реактор, на котором можно получить плутоний, столько измерить...

Выбор цели. Даниил Александрович Гранин granikdanie1.ru
Три «Курчатова», три бородача – Изотов, Федя, Гуляев – изображают своего шефа без всякого трепета, вышучивая солидность, и величественность, и гнев, и прочие «устрашения». Почему-то на них широченные кепки блином, пестрые кашне...

Кто-то садится за рояль, и Зубавин, не выдержав, вне программы, пускается в пляс, отбивает дробь перед женщинами. Они принимают вызов, выходят в круг...

Никто не заметил, как исчез Курчатов. Когда танцы кончились, он появляется из столовой – неизвестно откуда раздобытый цилиндр блестит на его голове, белый шелковый шарф развеивается, палка в его руках превратилась в чаплинскую тросточку. Под песенку из фильма «Огни большого города» он пританцовывает, утино растопырив башмаки, и все больше становится похожим на Чаплина. Борода несколько не мешает, она даже кажется приклеенной и делает его смешнее... Даже эти близкие ему люди не ожидали, что он способен выкинуть такое. Ах, как он отплясывает и как хохочет!

Горят свечи на елке. Наступает 1947 год. Голубой недоступный шарик, запущенный Абрамом Федоровичем Иоффе в новогоднюю ночь сорок первого года, наконец-то пойман, схвачен.

Тот самый, с надписью «Ядро атома», уплывающий вверх, который столько раз вспоминался, снился Курчатovu...

Играют Моцарта. Старый приемник в деревянном футляре посвечивает зеленым глазком из темного угла рядом с письменным столом. Курчатov протягивает руку, чтобы выключить музыку, но, передумав, слушает, поглядывая на лежащий перед ним снимок взрывного устройства.

От удара ногой дверь распахивается, показывается Гуляев, на руках он держит Федю.

– Игорь Васильевич, вы просили – получайте. – Гуляев кладет Федю на диванчик. – Замучился я с ним. Не хочет пересчитать диффузионный метод.

– Да, не хочу, – немедленно подхватывает Федя. Он худенький, маленький и свободно умещается на этой невесте откуда попавшей сюда софе. – Некрасивый этот метод, Игорь Васильевич, неинтересный, такой же занудный, как сам Гуляев, – лежа, не стесняясь своей позы, рассуждает он.

Курчатov прячет фотографию в стол, мысли его еще далеко.

– Зато надежный, – рассеянно говорит он. – Мы ведь уже обсуждали.

Федя мрачно садится, подобрав ноги.

– Отпустите меня, Игорь Васильевич!

– То есть как?

– А так... отпустите, вообще отпустите.

– Ладно, в следующий раз, – отмахивается Курчатov. Ему не терпится остаться одному.

– Нет, я серьезно. Я сделал все, что мог. Теперь пошла техника. Эра инженерных дел.

– Эта эра не для него, – иронизирует Гуляев. – Он рожден для иной жизни. Его узкая специальность – тайны мироздания.

– Представь себе! – Федя вскакивает, мечется по комнате. – Мы... мы все дальше уходим от общего к частностям. А мне интересно наоборот, от частного к общему.

– Все туда, а он оттуда, – приговаривает Гуляев, засунув кулаки в карманы халата.

– Рассчитывать прочность труб? Усовершенствовать чайники? И ты будешь уверять,
Страница 50

Выбор цели. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
что это твоё призвание? – набрасывается Федя на Гуляева. – Думаешь, это и есть героизм?

– Видите, Игорь Васильевич, какой законченный себялюбец, обыватель от науки.

Перепалка их начинается чем-то задевать Курчатова. Он стоит, расставив ноги, посреди своего кабинета, из-под хмуро сведенных бровей следит за их поединком.

– Ты просто не хочешь честно подумать, – продолжает Федя. – Это и есть обывательщина. Вам легче понять меня, Игорь Васильевич, вы сами...

– А кто меня отпустит? – вдруг спрашивает Курчатов.

От неожиданности, от серьезности этого вопроса Федя не сразу может найтись.

– Вы другое дело, – уклоняется он.

– Почему же другое, – спокойно настаивает Курчатов. – Вы хотите сказать, что я теперь стал администратором. Променил физику на администрирование. Такова суть?

Жесткая его прямота, как ни странно, подстегивает Федю.

– Ага, признаетесь. Вас тоже это мучает. А уж меня-то давным-давно, я теоретик. Вас хоть как-то масштабы вознаграждают. Вы свой талант в руководстве реализуете. А мне чем утешиться? Я в журналах почти не успел появиться... Никто не знает про мои главные работы. Печатаю... так... отходы. Фактически я не существую как физик. Речь идет не о славе, а о науке. Пока мы не можем открыто публиковать свои работы...

– Наука, наука, – повторяет Курчатов. – Вы твердите, как заклинание... Все для науки, все ради науки... А не кажется ли вам, что наука не должна быть самым главным в жизни человека? Есть нечто важнее науки. – Обняв Федю за плечи, он усаживает его рядом с собою на этот диванчик. – Знаете, Федя, новые законы откроют и без вас...

– Бомбу тоже сделают без меня.

– Сделают. И без меня сделают. Но без нас позже. На неделю. Или месяц. И эта неделя для меня больше значит, чем вся моя личная... – Он ищет слово и не находит, или не хочет произносить. – Вы хороший теоретик, Федя, но вы не умеете думать о смысле собственной жизни. Или боитесь подумать. А иногда надо думать – ради чего ты живешь...

От этих слов они оба призадумываются. И даже Гуляев молчит, глядя в зеленый глазок приемника.

...Накинув на плечи белый халат, Курчатов идет за медсестрой по светлому больничному коридору.

Их останавливает врач.

– Я к Халипову, – говорит Курчатов. – К Дмитрию Евгеньевичу. Как он?

– Без сознания.

За стеклянной дверью видна длинная одиночная палата. На высокой кровати в забытьи лежит Халипов. Глаза закрыты, бескровно-костяное лицо уже неизгладимо измучено долгими страданиями. Со всех сторон тянутся к нему шланги, трубки, на высоких штативах реторты, по которым поднимаются пузырьки. Живет не он, а эта аппаратура. Прислонясь к дверному косяку, Курчатов вглядывается сквозь стекло в умирающего, в жизнь, которая вот-вот оборвется...

«Дорогой ты мой, Игорь Васильевич... ну дай же на тебя посмотреть...»

«Наконец-то, Дмитрий Евгеньевич... как долетели?»

Невнятно-тихие голоса эти возникают в памяти Курчатова откуда-то из прошлого. Чьи-то сильные руки обнимают его сзади, он поворачивается и видит Халипова. Они в двухкомнатном номере гостиницы «Москва». Переверзев вносит чемоданчик

Халипова.

– Дорогой мой... ну-ка, дай тебя обозреть! – гроыхает в полный голос Халипов, могучий, костистый старик.

– Наконец-то, Дмитрий Евгеньевич... как долетели?

– Палили в нас, как положено. Да мы ведь в Ленинграде к этому привычны. Каждый божий день обстрел.

Они садятся за круглый столик, с удовольствием оглядывая друг друга.

– А твои препараты целы. Дожидаются. Не велю трогать.

– Дмитрий Евгеньевич, хочу просить вас, – начинает Курчатов, доставая бумагу с программой исследований. – Вы, один, можете помочь нам. Взять на себя радиохимию. Вот эту программу.

Переверзев тем временем в уголке на плитке сооружает чай. Халипов, нацепив очки, внимательно читает программу. Курчатов в другой комнате подбирает еще бумаги для Халипова.

– В этом-то номере до войны, говорят, артисты останавливались. Народные! – доносится веселый голос Курчатова. – Пианино есть! – Он выходит и видит Халипова, стоящего спиной к нему. Тяжкое его молчание, опущенная голова пугают Курчатова.

– Дмитрий Евгеньевич... – робко произносит он.

Халипов вытягивает платок, шумно сморкается, утирает слезы.

– Ты уж прости, нелегко так... сразу... – сдавленным голосом, не оборачиваясь, говорит он. – Хоть стар я, а цепляюсь... Песецкий... знал его? Он от этой самой химии загнулся. Второй месяц слег и уже не встает.

Курчатов садится, смотрит себе в стакан.

– Что же, защиты нет? – спрашивает он бесчувственно-спокойным голосом.

– То-то и оно-то, что пока не получается. Не умеем. Надо нащупать, а при таких сроках, да такой объем...

– Но почему вы все на себя берете? У вас большой институт.

– А ты не понимаешь? Потому и беру, что не могу других подставлять. Да никто так, как я и мои помощники, не разбирается.

Курчатов берет программу, складывает ее.

– Тогда и говорить нечего. – И рвет бумаги.

Халипов поворачивается к нему, вытирает рукой глаза.

– Ну и дурак. Разве это решение? Кто же тебе сделает в такие сроки? Кто, если не я?... То-то и оно...

– Давайте все же подумаем, как выбраться из этого, – выдавливают Курчатов, не поднимая головы. – Можно ли как-то обойти... Я не представлял.

– Знаю. Теперь представляешь, и что? – с каким-то ожесточением допытывается Халипов. – Что изменилось? Ничего. Тут уж мы с тобой ни при чем. Все равно надо. Схитрить тут не удастся. И не будем в жмурки играть. Не пристало нам. – Он берет обрывки программы, бережно составляет, расправляет их. – Давай лучше обговорим, сколько сырья ты даешь.

Зябко съежившись, Курчатов охватил себя руками:

– Не могу я...

Допив чай, Халипов, прищурясь, деловито водит пальцем по строчкам:

– Это не сумеем, а под это дело усиленный паек сотрудникам я выцыганю, уж тебе придется раскошелиться... – Но, не выдержав, он срывается: – Ну что ты на себя наворачиваешь?! Ты иначе не мог, и я не могу. Война же идет! Война. Конечно, от пули или там бомбы оно полегче. Знаешь: «Легкой жизни я просил у бога, легкой смерти надо бы просить». А впрочем... откажись я, так ведь еще хуже, совесть бы заела. Он снимает очки, подойдя к Курчатову, утешающе кладет руку на плечо: – Ну, брось, может, чего успеем придумать. А нет – тоже не беда. По крайней мере не зазря...

Голос его стихает, слов уже не разобрать, губы шевелятся все медленнее, застывают, сложенные в хитрую усмешку, и живое лицо его вдруг обретает черты портрета. На портрете он чуть величественнее, чуть проникательнее, чем был, появилась суровость, которой никогда не было.

Портрет этот укреплен на пирамидке могилы, заваленной цветами. Небольшое подмосковное кладбище пустынно. Курчатов один здесь. Похоже, что он остался после похорон. Стоит с непокрытой головой на осеннем ветру, снова – в который раз – допрашивая себя...

В зеленом, неверном свете луны – спальня, открытая дверь на лестницу. Курчатов лежит, не в силах заснуть, потом осторожно, чтобы не разбудить жену, встает с кровати, спускается на первый этаж. Проходит через холл в кабинет, освещенный луной из большого окна. За крестовиной переплета – сад, теплая рассветная тишь, первые нерешительные вскрики птиц.

Курчатов стоит, подняв голову. Слезы катятся по его щекам. Он оттирает их рукавом пижамы, они опять набегают, ему никак не справиться с собою.

Сзади неслышно подошла Марина Дмитриевна, тронула его за плечо. С неожиданной злостью он оттолкнул ее, отошел, стиснув зубы.

Она снова подошла.

– Уйди... уйди, – бросил он.

И вдруг не выдержав, разрыдался, стыдясь себя, стискивая кулаки, уткнулся ей в плечо. Она ровно и быстро гладила его по голове.

– Боюсь... я боюсь... – вырывается у него. – А что, если не так... У меня голова раскалывается... Я не могу больше... Не могу... Я же не бог... Они думают, что я знаю... что я знаю все, до конца... а я не могу все рассчитать... ведь все может быть... А если пшик? А? А если все напрасно... – Слова его неразборчиво сливаются, да Марина Дмитриевна и не слушает его, лицо ее закаменело, впервые она видит его рыдающим, ее бьет озноб. У нее хватает лишь сил гладить его, пока он не затихает на ее плече.

Сквозь анфилады лабораторных комнат, где работают люди в халатах, идут зубавин и Переверзев. В каждой комнате зубавин спрашивает:

– Курчатова не видели? Курчатов не заходил?

– Не видели... не был, отвечают всюду.

С зубавиным здороваются, его тут знают.

– Ну как, получил? – спрашивает он кого-то на ходу.

– Спасибо, все в порядке.

Под тиканье счетчиков мечется рыба в аквариумах у биологов.

В теплицах сниклые цветы, люди здесь работают в защитных костюмах.

Механики испытывают манипулятор.

Выбор цели. Даниил Александрович Гранин granikdanie1.ru
В затененных комнатах на экранах вспыхивают бледные треки разрядов.

Воспаленные до красноты глаза просматривают бесчисленные рулоны фотопленок, тысячи снимков. Загораются надписи: «Не входить», «Идет опыт», «Опасно».

Тесно от приборов, пультов, стендов.

Лаборатории выползают на лестничные площадки.

Потрескивают разряды, звякает посуда, постукивают насосы, завывают центрифуги, вентиляторы, моторчики. Среди этого звукового хаоса все явственнее приближается звонкое цоканье целлулоидного шарика.

Зубавин сворачивает на этот звук и видит: в тупике коридора играют в пинг-понг Федя и еще один молодой теоретик с бородкой «а-ля Курчатов».

На стене висит грифельная доска, исписанная, исчерканная формулами, схемками.

Появление Зубавина никак не смущает игроков, по крайней мере Федю. Он режет, нападает, крутит с таким азартом, что Зубавин произвольно начинает следить глазами за ходом поединка. Федя выигрывает подачу. Зубавин встряхивает головой, как бы освобождаясь от этого гипноза, спрашивает:

– У вас что, обеденный перерыв?

– Не обеденный, а умственный, – отвечает Федя и начинает новую партию.

У Зубавина выпячивается было челюсть – признак гнева, – но тут же он усмехается над самим собой, над привычным своим представлением о работе, которое здесь явно не подходит. Да ведь и достаточно он узнал уже этих теоретиков и особенности их работы, когда в самые напряженные, мучительные часы человек с виду бездельничает, валяется на диване, стоит, прижавшись головой к стеклу.

По коридору мимо играющих спокойно проходят лаборанты, сотрудники, никто не обращает внимания на эту игру в разгаре рабочего дня, все считают ее в порядке вещей, естественной частью изнуряющей работы...

...Пустой кабинет Курчатова, отделенный стеклянной перегородкой от соседних рабочих комнат. Этот кабинет не приспособлен для совещаний, но он и не для академической работы. Кабинет очень рабочий, рациональный, скорее напоминает конторку мастера, помещение начальника цеха, во всяком случае, это продолжение лаборатории.

Звонит телефон. Умолкает. Вспыхивают лампочки на коммутаторе. Гаснут.

Из раскрытого окна весеннее солнце, ветер. Распахивается дверь, входит Зубавин, за ним Переверзев. Быстрым взглядом Зубавин окидывает стол, бумаги.

– Где он может быть?

– Не знаю, – отвечает Переверзев.

– Кто же знает? Вы для чего здесь?

– Виноват, Виталий Петрович.

Чем-то подозрителен Зубавину этот смиренный тон. Зубавин внимательно приглядывается к Переверзеву:

– Что-то у вас не очень виноватый вид...

Переверзев молчит, вытянувшись по-военному.

Звонит отдельно стоящий белый телефон. Зубавин берет трубку.

– Зубавин слушает... Здравствуйте... Его здесь нет. Я только что вошел... Сейчас выясню... Минуточку. – Он зажимает микрофон рукою. – Ну, что будем делать?

- Виталий Петрович, разыщем, – тихо обещает Переверзев. – Не беспокойтесь.
- Ты меня не успокаивай. Где он?
- Уехал подумать.
- Почему один? Что он, тут думать не может? Какого черта...
- Виталий Петрович, поймите, надо ему иногда выключиться, побыть без всего этого...
- Блажь, капризы. Понимать не желаю. Вы имейте в виду, Переверзев! – Забывшись, он стучит трубкой по столу. – А, черт... – Он прикладывает трубку к уху. – Извините... Алло... Курчатов уехал, к сожалению, связаться нельзя... Просто поехал подумать...

Некоторое время он слушает сердитое клокотание трубки, шея его вздувается. Он встает, вытягивается, отвечает как можно сдержаннее:

- Почему же расхлябанность... У него все же несколько иная работа, чем у нас с вами. Ему не всегда нужны телефоны, ему нужно и так, чтобы без всяких телефонов... Простите, товарищ министр, я вас не учу, я просто возражаю... – Гудки, он медленно опускает трубку на рычаг, стоит, опираясь на аппарат, лицо его постепенно отходит, снова обретает свое хмуровато-спокойное выражение. Впервые, может быть, приоткрылось Переверзеву, сколько приходится принимать на себя этому человеку.

Окраина Москвы, на горе старый Коломенский дворец, шатровая церковь Вознесения, на свежем зеленом откосе нежатся на солнышке мамы с детьми, компания студентов перекидывается мячом, носятся ребятишки. Но это там, внизу, а здесь, на скамейке, в пятнистой подлественной тени, тихо, спокойно. Длинно поблескивает река, пересвистываются птицы.

Откинувшись на ребристую спинку скамьи, Курчатов словно растворился в этом солнечном покое молодого лета. Далеко на горизонте дрожит, мерцает профиль Москвы, ее колоколен, золотые маковки церквей, трубы теплостанции. Курчатов смотрит на эту московскую даль, но глаза его невидяще устремлены в какую-то мысленную точку. Он сидит неподвижно, весь уйдя в размышление. Это не задумчивость, это именно размышление, работа. Иногда он хмурится, иногда недоуменно морщится, а бывает, что лицо его разгладится в довольной ухмылке. Конечно, со стороны он выглядит отдыхающим, надо внимательно приглядеться, чтобы понять внутреннюю напряженную работу, которая происходит сейчас.

Кто-то трогает его за плечо:

- Папаша, не найдется закурить?

Не оборачиваясь, Курчатов вынимает коробку «Казбека».

- Ого, красиво живете! – Парень, не торопясь, берет папироску, сигналил кому-то.

Появляются еще двое ребят. Это все студенты. Студенты сороковых годов: демобилизованные парни или же недавние школьники, отошальные, одетые в отцовские кители, в гимнастерки, в солдатские ботинки; учебники, перевязанные ремешками, вечные ручки торчат из кармашков...

- Налетели на дармовщину, – выговаривает первый, – нахальная молодежь пошла.
- Берите, берите, – угощает Курчатов, не замечая розыгрыша. И они берут, и еще берут про запас, закладывают за ухо, закуривают, смакуя, растягиваются тут же рядышком, на скамейке, расстегивают воротнички, подставляя солнцу грудь, любясь на реку.
- Да, жизнь прекрасна, как сказал поэт, но удивительна.
- Никаких «но». Жизнь прекрасна, что удивительно.

Выбор цели. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru

– Солнышко-то... И почему это говорят, что неученье – тьма?

– Ле-на-а-а! Ползи сюда! – кричит один из них.

Две девушки на берегу собирают портфели.

– Если бы не зачет, мужики... Полного счастья не бывает.

– Не ной... Не порти картины.

– Поставят трояк.

– Ну и что, тройка – это удовлетворительно. Понимаешь – государство удовлетворено. А мне главное – удовлетворить государство. Пятерка – это для себя. Это эгоизм.

Внизу речная волна колышет траву, лодки. Слепящее солнце дробится на воде. Курчатов закрывает глаза, и желтые круги несутся, сталкиваются, разлетаются осколками, напоминая фотографии, снятые в ионизационных камерах.

Девушка режет толсто хлеб, накладывает по кусочку колбасы, раздает ребятам, подумав, безмолвно показывает на сидящего рядом с ними этого странного бородача, который, как ей кажется, из деликатности отвернулся.

– Феликс...

Феликс с набитым ртом мычит, протягивая Курчатову бутерброд.

– Угощайтесь, папаша.

Курчатов оборачивается, досадливо отмахивается:

– Спасибо, не хочу.

– Да вы не стесняйтесь.

– Ладно, не приставай, – говорит Лена.

– Сачки вы, – неожиданно сердито определяет Курчатов.

На него смотрят удивленно и заинтересованно.

– Однако, жаргон у вас, папаша, – усмехается Феликс. – Вы, очевидно, лицо духовное, а выражаетесь...

Этого «духовного лица» Курчатов никак не ожидал. Но в то же время он сразу соображает, в чем дело: церковь, он тут же сидит, опершись на палку, с бородой, столь редкой тогда...

– Витя, нас обидели. Ты, можно сказать, мучаешься, изучая на себе солнечную радиацию...

– И космические ливни, – гудит Витя.

– Между прочим, это не молебен служить. Если вы служитель культа, вы должны радоваться.

– Чему?

– Тому, что физика благодаря нам развивается медленно.

– А что если действительно податься в астрофизику? – мечтательно рассуждает третий.

– Не перспективно, – говорит Феликс, – сейчас решать будут ядерщики. Все условия. Оборудование, оклады, звания...

– Это за что же? – любопытствует Курчатов.

Выбор цели. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru

О нем уже забыли, и опять вопрос его удивляет.

– О господи, темнота наша, – вздыхает Феликс. – Про бомбу вы слышали? Так вот, мы делаем бомбу.

– Вы?

– Конечно, мы, кому еще... У нас дипломный проект.

Слабая улыбка освещает лицо Курчатова.

– Не верите... – снисходительно говорит Феликс и начинает «травить»: – Лена, у тебя с собой опытный образец?

Лена отрывается от конспекта:

– Ребята, а кто знает, на что расщепляется уран?

– На барий... – вспоминает Вася.

– А еще?

Они неприятно озадачены, листают тетрадки, ищут, бормочут, повторяя.

– Слышали, у Бора сейчас конгресс по слабым взаимодействиям... – мечтательно говорит кто-то.

– То у Бора...

– А у нас? – спрашивает Курчатова.

– А что у нас? – Феликс потягивается, делает несколько приседаний. – У нас пока антракт. Вся надежда на нас.

– Ну, не вся... – примирительно гудит Витя.

– Ну кто еще? Старики, конечно, еще трепыхаются, а весь цвет-то где?

– А перед войной, помните? Как Флёров и Петержак рванули! А?

– А Александров? – напоминает Лена. – А Алихановы? Это же первоклассные работы были!

Они загораются, щеголяя друг перед другом своими знаниями, оказывается, что они действительно кое-что знают, читали.

– А Курчатова, Курчатова! По сегнетоэлектрикам, по циклотронам...

– А Харитон... Изотов. Да, были люди...

– Может, живы... – сомневается Вася.

– Эти мужики могли бы соответствовать. Они тянули.

Донесся колокольный звон с церкви. Все примолкли, слушают, погрузившись.

– А может... – говорит Вася. – Кто-то же делает бомбу.

Лена хозяйственно свертывает остатки продуктов.

– Все равно мы обгоним американцев.

– Это почему же? – интересуется Курчатова.

Феликс пренебрежительно фыркает.

– Настоящие физики, отец, всегда против невежества и реакции. Еще со времен

Выбор цели. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
Галилея, когда ваша церковь мучила его.

– Между прочим, не наша, – поправляет Курчатов, – но неважно.

– Сейчас все зависит от физиков, вся судьба человечества.

– Почему же не от химиков, не от врачей? – говорит Курчатов.

– Да, Феликс, ты тут подзагнул! – басит Вася.

– Нисколько!..

Тем временем поверху к ним подъезжает ЗИС-101. Резко тормозит. Из машины выскакивает Переверзев.

– Игорь Васильевич! – кричит он.

Курчатов, который внимательно слушал Феликса, неохотно поднимает голову, кивая: сейчас, мол. Феликс умолкает.

– Давай, давай... – приглашает Курчатов, но Феликс уже настороженно замкнулся.

– Неважно... это так... – бормочет он.

Курчатов надевает накиннутый на плечи пиджак. Прощально оглядывает высокое небо, речную даль и этих ребят.

– Между прочим, кроме бария, – говорит он, – получается еще криптон, это очень просто. Атомный номер урана девяносто два. Бария – пятьдесят шесть. Значит, остается тридцать шесть. Верно? Это и есть криптон. Ну, счастливо...

И уходит к машине. Лихо развернувшись, она взлетает по косогору...

– ...Пятьдесят два... Пятьдесят один... – ровно и бесстрастно звучит команда отсчета.

Парусники скользят по бухте мимо Инкермана, Константиновского рavelина. Бьется волна о теплые щербатые камни Приморского бульвара тех дореволюционных времен, когда Курчатов, гимназистом, наезжал с отцом в Севастополь. Прыгают в воду мальчишки и тут же карабкаются обратно по каменной кладке, блестя коричневыми телами. А по бульвару шагает военный духовой оркестр, и повсюду сверкает море – детская мечта Курчатова, извечная его мечта.

– ...Сорок восемь... Сорок семь...

Красное знамя развевается над головами красноармейцев. Впереди командир с шашкой, перепопоясанный ремнями, за ним кавалеристы с карабинами в будённовских шлемах. Горнист поднимает трубу, цокают подковы по бульжной мостовой.

Лесной проспект Петрограда, и в конце его сквозь сосны белеет колоннада Политехнического института.

У доски приказов толпа. Курчатов, совсем молодой, высокий, худой, поверх голов всматривается в плохо отпечатанный листок:

«Курчатова И. В., студента кораблестроительного факультета, – отчислить за академическую задолженность.»

Всплывает голос неумолимого отсчета:

– ...Тридцать пять... Тридцать четыре...

Поеживаясь на холодном ветру, в своей потрепанной куртке, Курчатов шагает, размахивая связкой книг, по Николаевскому мосту через Неву. Обгоняя его, трусят извозчики, бежит красный трамвай с открытыми площадками, с громкими звонками. Еще на вывесках: «Булочная Филиппова», «Рыбачий кооператив». Это Петроград 1924 года, нет, уже Ленинград, потому что май месяц и по Неве плывет ладожский лед.

Выбор цели. Даниил Александрович Гранин granikdanie1.ru
Под плакатом «Долой неграмотность!» сидит укутанная в платок торговка семечками и маковками.

На набережной можно было еще встретить точильщиков с точилом на плече, маляров с кистями, трубочистов; еще путейцы носят фуражки с инженерным значком, а служащие идут с портфелями; много людей еще в шинелях и кожанках.

Вдали видны стапеля и краны Балтийского завода. Там ремонтируют пароходы с высокими трубами, а по Неве шлепают старенькие колесные пароходики.

Курчатов спускается по гранитной лестнице к воде, смотрит на этот морской Ленинград, с бескозырками, верфями, памятником Крузенштерну, с бухтами каната, лежащими здесь на набережной, и разбитыми миноносками, что ржавеют у пирсов.

– Ну и черт с вами, займись физикой! – объявляет он громогласно всем кораблям и причалам.

– ...Пятнадцать... Четырнадцать!.. – перебивая его, звучит голос отсчета.

И снова порт – горящий Севастополь. Немцы обстреливают пристань, где идет погрузка раненых. По сходням поднимают носилки. Курчатов в мокром бушлате работает на палубе, проверяя размагниченность корабля перед выходом в море.

– ...Семь!..

В бетонированном бункере наблюдения собрались члены государственной комиссии. Тут же Курчатов, Зубавин, Изотов, Таня.

Щелкает, прыгая, огромная секундная стрелка на большом циферблате, горят сигнальные лампочки пульта.

Федя вынимает конфетку.

– Не хочешь? «Взлетная»... Помогает от неприятных ощущений.

Таня внимательно смотрит на себя в карманное зеркальце, медленно подкрашивает губы. Каждый здесь старается выглядеть спокойным и успокаивает себя привычным ему способом.

– ...Шесть!

Неподвижное лицо Курчатова. Набережная нынешнего Приморского бульвара Севастополя. Из-под аркады, от моря бегут дети. В шортах, майках, они бегут на Курчатова, как в массовом забеге сотни мальчишек.

– ...Пять!

Все взгляды сходятся к Курчатову. На него смотрят с надеждой, страхом, испытующе, недоверчиво. Увидим, мол, что это еще за бомба.

– ...Один!

Курчатов на мгновение прикрывает глаза: голубой новогодний шарик с надписью «Ядро атома» медленно поднимается над украшенной елкой.

В окулярах стереотрубы ему видна пустыня, черные контуры вышки и висящая в ней бомба – итог всех усилий, надежд и сомнений. Последний раз он как бы проверяет себя.

– ...Ноль!

Наступает тишина. Теперь только удары сердца отсчитывают время. Палец Курчатова ложится на кнопку «Пуск». Какие-то миги он еще медлит.

В нестерпимо белом свете отчетливо, до малейших подробностей, проступает отстроенный жилой кирпичный дом, он стоит одиноко среди барханов, непонятный еще до этого последнего момента в своей бесприютности и ненужности; виден железобетонный дот, танки, расставленные на разных расстояниях, самолеты, клетки

Выбор цели. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru с кроликами, радиологические пункты, артиллерийские орудия, мастерские, заставленные станками, – все это расположено вокруг вышки по каким-то вычисленным радиусам. И все это предстает в последний раз перед взором в немыслимой четкости, со всеми подробностями.

Беззвучно и неторопливо начинает расти столб огня, белый шар поднимается, разбухает, он ярче солнца, больше его, и все растет и растет. Грохот вселенского обвала обрушивается с неба. Люди в траншеях лежат ниц... Осыпается песок, колышется земля.

От мгновенно представшей картины с домом, мастерскими, танками ничего не осталось, все исчезло, есть лишь гладко поблескивающая поверхность спекшегося песка. Где-то вдаль дымятся остатки паровоза, каких-то станков...

В Вашингтоне, в скучной комнате с голыми стенами, за простыми канцелярскими столами заседает административная комиссия Комитета по делам кадров.

Выбрана ли специально эта неуютная, душно прокуренная комната для такого разбирательства, или же это получилось случайно, трудно сказать. Скорее всего эти судьи вряд ли были способны на такие тонкости.

Показания дает Борис Паш. Он все так же жизнерадостен, уверен в себе, спортивен.

– ...Мы поставили Оппенгеймера перед выбором между дружбой и карьерой. Он выбрал карьеру и выдал Шевалье. Мы не ошиблись.

Он оглядывается на сидящего посреди комнаты Оппенгеймера, готовый к его возражениям.

– Вы уверены, мистер Паш, что Оппенгеймер оставался в душе коммунистом? – спрашивает председатель Гордон Грей.

– Может, его и мучили сомнения, но мы должны судить о нем по его поступкам.

– Какие поступки убеждают вас в этом?

– Из-за него Штаты потеряли три с лишним года, не приступая к работе над термоядерной бомбой. Он нанес нам вред.

– Вы думаете, что слава и любовь, какими его окружала страна, не изменили его взглядов?

– Нет. Я сужу по его действиям. Он виновен. Более того, мы постараемся, чтобы двери наших лабораторий были для него закрыты.

Председатель:

– Адмирал Льюис Страус!

С кожаной кушетки, на которой сидят свидетели, поднимается адмирал Страус, маленький, ловкий, на вид веселый, этакий округлый, приветливый старичок-бодрячок.

– Я думаю, мистер Паш ошибается. Оппенгеймер давно не коммунист, он хочет другого – видеть мир у своих ног. У него неограниченное самомнение и мессианство. Я обратил на это внимание еще в 1949 году, когда нам стало ясно, что русские взорвали атомную бомбу, уже тогда русские развили большую скорость, чем мы, бомб-то у нас было больше, но несмотря на это, русская бомба за одну ночь изменила соотношение сил, разрушив нашу стратегию. Не стоит лгать, мы не предполагали такого темпа. Наши ученые в эти критические минуты оказались не на высоте. Некоторые вообще не признавали русской бомбы, другие же истерически требовали от нас компромиссов, и в этом виноват Оппенгеймер. Мне сразу же стало ясно: спасти нас может только водородная бомба. А Оппенгеймер не соглашался... Но я надеюсь, что у Америки есть, кроме Оппенгеймера, люди, которые понимают веление времени...

Роджер Робб, советник Комитета по атомной энергии, восклицает с места:

– У Америки есть вы!!! И есть Теллер!

Председатель, Гордон Грей, обращается к Оппенгеймеру:

– Господин профессор, вы были убеждены, что водородную бомбу не нужно было делать?

– Как он изменился, этот уверенный в себе, блестящий, привыкший к славе, почету Роберт Оппенгеймер. Даже на заседании Комитета по выбору цели, даже после смерти Джейн не было в нем такой горечи и разочарования.

Прошло девять лет. Сейчас апрель 1954 года. Точнее, 22 апреля, день рождения Роберта Юлиуса Оппенгеймера, которому исполнилось пятьдесят лет. Вот он где встречается его – в сущности, на скамье подсудимых. Процесс шел уже десять дней и должен был продлиться еще столько же. На скамье подсудимых сидел один Оппенгеймер, но вместе с ним, незримо, все его поколение молодых американских атомщиков. Тех, кто вместе с ним начинал у Резерфорда, занимался в Геттингене, – судили их вольнолюбивую юность, отвращение к фашизму, то, что было, а теперь ушло, отодвинулось перед могущественным взлетом физики, славой, почестями, деньгами. Они решили, что они-то и есть властители и творители судеб истории. Кончилось это быстро. Ответственность придавила их, сломала, оказалось, что они беспомощны и не приспособлены к такой роли.

Высохшее, обтянутое лицо Оппенгеймера застыло. Он не пытается блеснуть красноречием, острым ответом. Он не изображает героя, несправедливо судимого, он не жертва, но он и не кающийся грешник, он не преступник, он слушает судей и свидетелей крайне рассеянно. Похоже, что существенно для него не происходящее, не вся эта процедура, а совсем иное. Сейчас он, вместе со своими судьями, судит себя.

– Это имело бы смысл, – отвечает Оппенгеймер, – если бы мы достигли такого военного преимущества, что без войны принудили бы противника признать наши требования... Однако русские создали свою бомбу в такой невероятно короткий срок, что стало ясно: нам не удержать преимущества. Русские шли за нами вплотную, в затылок. Никакой безопасности не получилось. Над всем миром нависла угроза уничтожения. Мы потратили миллиарды долларов. И что? Мы ничего не получили. Мы не сильнее, чем русские. Мы не имеем ни уважения, ни признания от стран свободного мира.

– Это вы сейчас так рассуждаете, – с чувством и значительностью говорит Робб. – А когда-то вы вместе с другими убедили наших государственных деятелей, что у нас есть преимущество в десять, а то и в двадцать лет. Если бы вы правильно информировали правительство, оно бы не допустило этой опасности – конкуренции русских.

– Каким образом не допустило... – не спрашивает, а усмехается Оппенгеймер. – Вы несколько преувеличиваете мою роль. У правительства было много информаторов.

– Доктор Теллер, – спрашивает председатель, – вы согласны с подобной оценкой?

Теллер хочет говорить сдержанно, но с первой же фразы срывается. Враждебность его к Оппенгеймеру смешана с честолюбием, с жадой прослыть единственным автором водородной бомбы, защитником американской науки от красных...

– Не согласен, во всяком случае не совсем. Получилось так, что ради работы над атомной бомбой Оппенгеймер пожертвовал чистой наукой. Бомба стала как бы его личной собственностью. Он считал ее своим достоянием. Он ревниво оберегал ее. Идея же термоядерного оружия была не его, она принадлежала мне. А это означало, что слава Оппенгеймера быстро поблекнет. Отважусь сказать, что это чувство и является причиной того, что Оппенгеймер боролся с нами.

– Что сделали бы вы, профессор Оппенгеймер, – спрашивает Роджер Робб, – если бы перед вами поставили задачу создать водородную бомбу?

После некоторого колебания Оппенгеймер неуверенно признается:

– Это трудно сказать.

Выбор цели. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru

– Вы были бы с нами или вышли бы из наших рядов? – допытывается Робб. – Да или нет?

– Думаю, я выполнил бы возложенную на меня задачу... – с трудом произносит Оппенгеймер.

– Считаете ли вы, что правительство вас обидело?

– Нисколько. – Оппенгеймер медленно усмехается. – Я согласен с Макиавелли, что неблагодарность – основная обязанность государя.

– У меня нет вопросов.

Комната быстро пустеет.

К Оппенгеймеру подходит один из судей, старый профессор-химик Ивенс.

– Имейте в виду, Оппи, я решительно против этих взбесившихся кресел. Жаль, что я тут в меньшинстве. Но я уверен, что это им так не пройдет. Они хотят объявить вас подозрительной личностью.

Оппи продолжает сидеть на стуле, посередине комнаты, сосредоточенно глядя прямо перед собой.

– Представляете, – продолжает Ивенс, – любого из нас, ученых, правительство запрашивает о чем-то, и если, допустим, мой ответ, то есть мое мнение, не понравится этим болванам, они начинают рассматривать меня как подозрительного. Хороши порядки. Этот Маккарти окончательно спятил. Нет, это касается не одного вас, это на нас всех покушаются. Вы слышите, Оппи?

– Не знаю, Ивенс, не знаю... – говорит Оппи. – Мне хочется понять свою собственную ответственность. В чем я виноват. Сейчас мне важно не оправдаться, а выяснить...

Он остается один. Пустые, обшарпанные канцелярские столы стоят перед ним, пустые кресла, папки донесений, досье, показаний. Коробки с магнитофонными лентами записей. Фотографии с рулонами пленок-негативов. Протоколы опросов...

В доме Курчатовых, внизу, в холле, у деревянной лестницы, ведущей на второй этаж, одевается старый доктор. Марина Дмитриевна, зябко стягивая на груди платок, допытывается:

– Ну что, профессор?

– Второй инсульт, он и есть второй инсульт, – ворчливо отвечает профессор. – Он это знает. Сейчас состояние... – Марина Дмитриевна подает ему шубу. – Спасибо... Состояние несколько лучше, но по-прежнему строжайший постельный режим. Никаких резких движений, никаких деловых разговоров. Никаких волнений... Никаких посетителей. Покой, покой и покой... Вот главное его лекарство.

Он застегивает свою старомодную шубу, целует Марине Дмитриевне руку, смотрит на нее из-под мохнатых своих седых бровей, стараясь быть как можно строже и суровей:

– Марина Дмитриевна, вы сами должны понимать, второй удар, тут можно всего ждать.

Нахлобучив меховую шапку, он уходит. Марина Дмитриевна, прикрыв дверь, стоит, держа руку на холодном замке, собираясь с силами.

А наверху, в спальне, высоко на подушках, лежит Курчатов. За стеклянной перегородкой кипятит шприц медицинская сестра. Курчатов, прикрыв микрофон рукою, тихо и весело говорит в трубку:

– Николай Васильевич? Вас приветствует дважды ударник Курчатов, да, дважды ударник, – подмигивает он и сразу переходит на серьезный тон. – Задерживаете, задерживаете рабочие чертежи ОГРы... Но этот фантазер Головин хочет закончить ОГРу в конце года. И дай ему бог... Что? Не согласен. Воронежская атомная уже строится.

Выбор цели. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru
Белоярская тоже... Судовые реакторы прошли испытания... А сейчас самое главное... Одну минуточку...

Тем временем входит со шприцем сестра. Курчатов, не прерывая разговора, поворачивается на бок, откидывает одеяло, подставляя для укола ягодицу.

– Хм... – крикает он от укола и тотчас повторяет: – Сейчас самое главное... Спасибо. Да нет, это не вам. Вас благодарить рано, рано, да...

Сестра выходит, а Курчатов, изучая развернутый чертеж, уже говорит по телефону с другим:

– Привет, Анатолий Петрович, нет, нет, ни о каких делах я разговаривать не собираюсь. Просто я придумал название для импульсного реактора. ДОУД-три. Что это значит? А значит, что я хочу увидеть его в действии до того, как меня хватит третий удар. До удара три. Физкульт-привет! – Он кладет трубку, как превеликую тяжесть, бледный, потный, бодрый его голос никак не вяжется с его изнуренным, больным видом.

Блестит мокрая брусчатка. Постукивает палка. В шляпе, в тяжелом пальто, опираясь на палку, по Кремлю идет Курчатов. Весна, орут воробьи, синее небо омыто и туго натянуто над Москвой. Пальто на Курчатове кажется тяжелым в этой солнечной теплыни, а может, еще и потому, что он исхудал и вид у него не очень здорового человека. Борода его поседела и стала жидкой. Его обгоняют депутаты, все направляются на сессию.

У Царь-пушки, как обычно, толкуются любопытные, особенно мальчишки. Они забираются на огромные ядра, на самую пушку, бесстрашно заглядывают в ее черный зев. И гомон сливается с воробьиным щебетом. Курчатов останавливается, наблюдая за этой детской игрой с такой древней, такой грозной на вид и совсем безобидной пушкой.

– Дед, а она стреляет?

– Наверное, – отвечает старый казах, с такой же длинной, висячей, тонкой бородой, как у Курчатова.

Курчатов сворачивает на Соборную площадь, поднимает голову и видит горящие на солнце маковки колокольни Ивана Великого, стоящей в белой своей нетронутой красе неизбежно и прочно, во веки веков. И все эти соборы, и могучие кремлевские стены, и маленькие ели, и дальше московские крыши... А в воздухе слышится звон колоколов, не набатный, не праздничный, а памятный с детства – музыка, которую вызванивали мастера-звонари на колоколах звонницы, как на гигантском органе...

Георгиевский зал сверкает белым мрамором, золотом. Многие депутаты так или иначе знают друг друга, хотя бы в лицо. Они здороваются, издали раскланиваются. Генералы, маршалы, знатные сталевады, чабаны – пиджаки увешаны орденами, медалями, звездами – этим здесь никого не удивишь. И все же фигура Курчатова привлекает общее внимание. Не только три Золотые Звезды Героя Социалистического Труда и лауреатские медали выделяют его. Что-то иное, необычное есть в этом богатырски сложенном человеке с интеллигентным лицом, с длинной редкой бородой. И взгляд его, сосредоточенный, ушедший в себя.

Перед ним расступаются, смотрят вслед, припоминая или спрашивая: «Кто это?» Кто-то радостно здоровается с ним. Но таких мало, его еще знают немногие. Постукивая палкой, он проходит в Грановитую палату, оглядывая картинки библейских сюжетов, расписанные на стенах, и бога Саваофа, парящего на потолке: румяного старичка среди пухлых облаков.

Не обращая внимания на устремленные к нему взгляды, с той же сосредоточенностью направляется он к трибуне, когда председатель объявляет:

– Слово имеет депутат Курчатов.

Гремят аплодисменты, из задних рядов кто-то приподнимается, всматриваясь в этого человека. С любопытством, почтением, с тем чувством, которое так свежо было

Выбор цели. Даниил Александрович Гранин granikdaniel.ru тогда перед всемогущей и таинственной атомной силой. Может, от этого Курчатов чуть опечален, встревожен. Ему кажется, что шум аплодисментов не имеет отношения к нему, поэтому-то и доносится отдаленно.

Он надевает очки, раскрывает папку:

– ...С этой высокой трибуны я обращаюсь к ученым всего мира с призывом направить и соединить усилия для того, чтобы в кратчайший срок осуществить управляемую термоядерную реакцию и превратить энергию синтеза ядер водорода из оружия уничтожения, разрушения в могучий живительный источник энергии, несущий благосостояние и радость всем людям на земле...

Он к чему-то прислушивается, словно бы цокают копыта, – нет, показалось. Он снимает очки, глядя вдаль, говорит:

– Я счастлив, что родился в России и посвятил свою жизнь атомной науке великой Страны Советов... Я глубоко верю и твердо знаю, что наш народ, наше правительство только на благо человечества отдадут достижения этой науки...

Снова слышится цоканье копыт. Курчатов умолкает, всматривается, видит, как далеко отсюда, где-то в 1924 году, вдоль гранитной набережной Невы едет молоденький красноармеец с карабином за плечом, в буденновском шлеме. Подковы цокают по торцовой мостовой. Опустив поводья, он едет мимо дворцов и узорчатых решеток, мимо рыбаков, лодочников, красный цветок торчит у него в петлице. Куда он смотрит? В какое будущее? Что он там видит? Эту ли трибуну, этот зал, этих людей?.. Куда он держит свой путь, этот парнишка двадцатых годов? И почему он явился сейчас перед Курчатовым? Молодость?.. Может, не только он слышит этот далекий цокот копыт, такой непривычный ныне, даже неизвестный для молодых. Может быть, и другие в зале услышали, поэтому они не удивляются внезапному молчанию Курчатова и ждут.

А он все всматривается, с нежностью и грустью следя за этим пареньком, едущим вдоль невской набережной...

1975

Примечания

1

О елка, елка,
Как зелены твои ветки!
Ты цветешь не только летом,
Но и зимой, когда идет снег... (нем.). – Ред.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://granikdaniel.ru/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://filosoff.org/> философия, философы мира, философские течения. Биография

<http://dostoevskiyfyodor.ru/>

сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!